

СБОРНИК № 4

К двадцатилетию 1905 года

ИЗДАНИЕ
Киевского Отделения Всесоюзного Общества
политических каторжан и ссыльно-поселенцев
КИЕВ — 1925

К двадцатилетию 1905 года

ИЗ ЭПОХИ БОРЬБЫ С ЦАРИЗМОМ

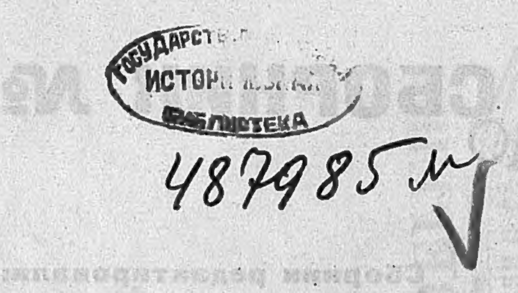


СБОРНИК № 4

Сборник редактировали:
Л. Берман,
Б. Лагунов.

ИЗДАНИЕ
Киевского Отделения Всесоюзного Общества
политических каторжан и ссыльно-поселенцев
КИЕВ — 1925

Киевский Окрлит. № 11887. Зак. № 1246.—3000 экз.



СОДЕРЖАНИЕ.

В сборнике помещены портреты и снимки: трех участников процесса по забастовке в Ржеве (стр. 29), Ржевской тюрьмы и коридора политических камер (стр. 44), Волховского (стр. 124), Чайковского (стр. 125), Яковлева В. (стр. 152), К. Берзина (стр. 161), М. Голода (стр. 163), 1-ой Всеукраинской конференции политкаторжан (стр. 172).

Об'явления.

Томск в октябрьские дни 1905 г.

Служебный персонал ст. Басандайка,—ныне Межениновка,—Сибирской железной дороги, где я был начальником станции, встретил события не совсем неожиданно.

Уже задолго до событий наш персонал жил политически сознательной жизнью, интересуясь и свободно разбираясь в текущих событиях, давая им надлежащую оценку. Количественно небольшой штат станции уже с начала 1903 года жил дружной, тесно спаянной семьей.

Этой спайке способствовали и некоторые общие хозяйственные интересы, охота и установившийся обычай коллективной выписки столичных газет. Выписка производилась на полупроцентные отчисления из жалованья каждого, что составляло около 3—4 рублей в месяц; деньги собирал кто-нибудь из телеграфистов. Здесь получались газеты: „Копейка", „Биржевые Ведомости", „Сибирская Жизнь", „Русское Слово", „Нива".

Они читались в свободное от поездов время—в пассажирском зале. Возникали споры об оценке и значении текущих событий. В первое время читал и давал раз'яснения дежурный помощник или телеграфист; а впоследствии стрелочники вели чтения уже самостоятельно, по своему разбираясь в прочитанном, и лишь в затруднительных случаях обращались ко мне за раз'яснениями. Они знали, что я был раньше в политической ссылке, и считали, что я „все знаю".

Значительный интерес представляла японская война. До нас доходили слухи и туманные газетные сообщения о спекуляциях на Дальнем Востоке царской семьи, для защиты эгоистических интересов которой и затеяна война.

Чтение газет происходило также в конторе, тотчас после отхода почтового поезда, с которым прибывали газеты. Сначала круг слушателей был невелик; но интерес к военным действиям и в особенности гапоновские события 9 (22) января вскоре привлекли большое число слушателей.

Урядник и учитель из соседняго села и наш станционный жандарм сделались обязательными слушателями наших чтений, вступая в горячие споры о прочитанном, когда оно не очень резко хлестало царскую особу. В последних случаях каждый переваривал услышанное в самом себе и делился своими мыслями с товарищами без посторонних свидетелей.

Но следующий случай нарушил молчание.

По прочтении длинного сообщения о подробностях событий 9-го января наступило гробовое молчание. В воображении каждого ярко возникали картины расстрела безоружных рабочих против окон царского дворца. Вера в царя сменилась безсильной злобой на него. Все переглянулись друг с другом, как бы вызывая на обмен впечатлениями, как бы ища лицо, которое выступило бы с оправданием царя,—для того, чтобы обрушить на такого защитника весь гнев своего настроения.

Я прервал молчание, обратившись с вопросом к жандарму:

— Ну-ка, Ефим Петрович, что вы скажете?

Еле дыша, красный, взволнованный жандарм встал, ударил кулаком по столу и выпалил:

— Нет более царя! Это—убивец, а не царь!—После этого он удалился.

С его уходом языки слушателей развязались, и посыпались проклятья по адресу царя и его семьи.

После этого события у нас наступила полная свобода слова, а нелегальная литература, уже давно попадавшая к нам, приобрела права гражданства в нашем кругу слушателей. Почти у всех возник интерес к ознакомлению с программами политических партий.

В то время я тяготел к эсерам и был в сношениях с Томской группой их; поэтому, при всем желании безпристрастно осветить разногласия программ, я невольно склонял публику к эсеровской точке зрения.

Такова была политическая подготовка окружавшей меня среды.

Весть о нашем „клубе“ распространилась на соседние станции и вызвала подражания. Кондуктора и машинисты, зная, что я—бывший народоволец, охотно сообщали нам очередные сенсации, а суждения, высказываемые нами, считались авторитетными, так что при их содействии на всем

участке устанавливалось однородное общественное мнение железнодорожников.

Отношение линейных служащих к событиям долго бы оставалось нейтральным, если бы не были вплетены в политику их кровные, профессиональные интересы.

А это случилось скоро.

Давно уже ходили слухи о том, что наши пенсионные взносы, составившие огромные капиталы, безконтрольно израсходованы на военные потребности, а главное—на покупку акций дворянского банка, т. е., наши трудовые сбережения идут на поддержку дворянского землевладения и защиту спекулятивных предприятий царской семьи и придворных. Летом 1905 г. слухи эти усилились и сильно взволновали публику. Правительство не скупилось на обещания конституционных гарантий, но эти обещания интересовали нас гораздо менее, нежели участь наших трудовых сбережений. Из газетных сообщений мы узнавали, что тревога эта охватила служащих всех железнодорожных путей.

Правительством неожиданно был разрешен на осень с‘езд железнодорожников для изменения устава пенсионной кассы. Уже на собраниях служащих для избрания делегатов раздавались резкие выпады против отношения правительства к интересам трудовых масс. Гапоновская история служила иллюстрацией к этим отношениям.

В сентябре в Петербурге открылся с‘езд, и наши делегаты оказались на высоте избрания.

Смелые выступления против правительства делегатов Орехова и Елизарова, угрожавших забастовкой всех железных дорог в случае разгона с‘езда, привели нас в боевое настроение по отношению к власти.

В это время мне сообщили из управления, что там среди служащих создается организация профессионального союза железнодорожников, и я поспешил завести сношения с ее инициатором—т. Анциферовым, от которого и стал получать директивы, информации и литературу.

Для защиты прав сослуживцев и для усиления интереса их к политической жизни мне удобнее было действовать в русле профессионального течения, чем партийного, почему и связь моя с группой эсеров стала ослабевать.

Вскоре я получил извещение, что на 14 октября назначено общее собрание служащих управления для инфор-

мации о постановлениях с'езда и решения вопроса об отношении Сибирской дороги к общей забастовке железных дорог.

Я прибыл во время. На собрании я не узнал своих управленских сослуживцев: оболочка приниженности, робости, боязни за свою шкуру спала, и из нее вышелушились смелые, решительные и сознательные бойцы. Собрание прошло с небывалым под'емом. Без колебаний решено было примкнуть к всеобщей забастовке, обратиться с призывом к рабочим других профессий поддержать ее, а забастовочное время использовать на усиленную перевозку войск из Манчжурии на родину. Разработку же петиции о своих профессиональных нуждах для представления ее куда-то постановили поручить правлению профессионального союза.

На линии эти постановления были одобрены и еще более взвинтили служащих, создавая иллюзию перехода из своей прежней роли наблюдателя в роль активного участника революционного движения.

Дни пошли за днями. Революционное настроение росло, отношение к начальству дороги обострялось. Каждый день можно было ожидать взрыва все повышавшегося настроения—в виде-ли всеобщей забастовки, в виде ли политических демонстраций в крупных центрах промышленной жизни, в форме ли столкновений рабочих с полицией—словом, ждали лишь сигнала к революции. В добровольную сдачу самодержавием своих позиций никто не верил. так как замечалось усиление боевого настроения полиции и жандармов. В Томске участились аресты; полиция избила нагайками учеников коммерческого училища и т. п.

При таком положении манифест 17 октября поразил всех своею неожиданностью.

Оглашен он был в Томске с опозданием на день. Принят был за чистую монету—за чистосердечное раскаяние властей в своей насильственной политике, за желание их укрепить связь между собою и трудовым населением. Никому не приходила в голову мысль о возможности провокации, о намерении властей вызвать на улицу все силы революции для того, чтобы одним ударом снести ей голову.

В таком ослеплении поспешил я в Томск за сведениями и указаниями. Газеты не получались, поезда не ходили,—пришлось ехать на лошадях.

В Томске я розыскал партийцев, побывал в своем союзе, обращаясь ко всем с вопросам о том, как действовать дальше.

Все однако высказывали полную растерянность, и отвечали одно и тоже:

— Не знаю. Идите в театр на митинг,—там узнаем последние новости и сговоримся, что делать.

Театр полон. С трудом пробился я в одну из лож, набитых самой пестрой публикой.

С эстрады оглашается текст акта 17 октября и сообщаются тревожные известия о погромной агитации, ведущейся местной полицией.

Одно за другим оглашаются вновь поступающие сведения:

— У губернатора идет тайное совещание без участия представителей городского самоуправления.

— Полиция что-то затевает, подговаривая торговцев устроить патриотическую манифестацию.

— Опять по распоряжению пристава избили нагайками гимназистов за прекращение занятий по случаю „манифеста“ и за разговоры о нем.

— Без видимой надобности появились казачьи патрули на улицах.

— В войсковых частях усилилась агитация против студентов и рабочих, как виновников забастовки и какой-то смуты.

— Сейчас сюда прийдут члены городской управы,—потребуем от них организации из граждан охраны города.

Этим ограничивались рассуждения на митинге,—на длинные речи не хватало ни времени, ни настроения. Но вот явились члены городской управы с Макушиным во главе. Они выслушали заявление публики и, обменявшись между собою мнениями, об‘явили, что управа согласна взять на себя охрану порядка в городе путем организации милиции из граждан, о чем они сейчас поговорят с губернатором. Они удалились для составления постановления и проведения его в жизнь.

С уходом членов управы начались прения по различным вопросам общественной жизни, о значении акта 17 октября и открывающихся перспективах. Партийных выступлений не было,—очевидно, партийные организации не имели глубоких корней в массах. Октябрьские дни застали их

врасплох: методы прежней подпольной работы отходили в прошлое, а к новым условиям еще нужно было приспособляться в ожидании директив центров.

Глубокой ночью вернулся я к себе в Басандайку с полным сумбуром в голове. Количество воспринятых впечатлений было огромное, но ответа на вопрос, что делать в новых условиях, я не привез. Вера в искренность царского манифеста не была еще поколеблена окончательно. В нем же говорится, что „в виду небывалых смут... вынуждены мы дать...“ и т. д. Расписка в банкротстве—на лицо; но как же тогда об'яснить поведение полиции? Очевидно, она в сфере царского самодержавия окристаллизовалась настолько, что не может освободиться от выработанных навыков и взглядов, а потому и не спешит проводить в жизнь начала, оглашенные манифестом.

Вывод ясен: надо борьбой с черносотенцами вообще и с полицией в частности, помочь правительству провести в жизнь новый курс. И в таком заблуждении я и окружающие меня пребывали еще долго.

Меня на станции ждали. Я знал, что уже с утра соберутся станционные служащие и наши сельские слушатели для того, чтобы узнать содержание манифеста и послушать мои раз'яснения о предстоящей новой политической жизни страны.

Долго, очень долго тянулось наше собеседование. Государственная дума, неприкосновенность личности, программы партий, четырех-хвостка, учредительное собрание,—все было разобрано и по мере понимания усвоено. Засиделись до сумерек.

С большим наслаждением ушел я, наконец, пообедать и отдохнуть от пережитых впечатлений вчерашнего и текущего дня. Это было в воскресенье 20-го октября.

Еще не совсем стемнело, когда меня неожиданно разбудили.

— Вставайте, поезд прибыл!

— Какой поезд? а забастовка?—спрашиваю я.

— Делегатский—вас требуют.

Тороплюсь одеться и спешу на станцию. У платформы—паровоз с одним классным вагоном. В конторе нахожу машиниста, кондуктора и четырех незнакомых мне молодых людей.

Мне пред'являют наряд забастовочного комитета на отправку в Тайгу поезда с делегатами, а один из молодых людей передает мне предписание нашего союза, за подписью Анциферова, отправиться в Тайгу, открыть в мастерских митинг и приступить с едущими делегатами партий к организации забастовочного комитета, в задачу которого входит регулирование движения поездов и упорядочение перевозки войск, так как жандармы и начальство умыли руки и отказались восстановить порядок, нарушаемый возвращающимися воинскими частями. Последние выгоняли пассажиров из вагонов скорых, обгонявших воинские, поездов, грабили буфеты, избивали станционных служащих, и, понятно, жандармы прятались от солдат. Прекратить этот беспорядок предлагалось забастовочному комитету.

Об'яснившись, мы поспешно сели в вагон и отправились дальше. В вагоне уже узнаю новости дня. Черная сотня, руководимая полицией, готовится к манифестации. Поговаривают о возможности погрома интеллигенции и евреев. Последних в Томске мало—они растворились в общей массе торгового и ремесленного населения; и поэтому возможен только погром университета и технологического института. Четыре моих спутника—представители партийных организаций — везут с собою пачки свеже отпечатанной литературы, воззваний и программ. Мы сговариваемся о программе выступлений в Тайге. Я, как „свой" на линии человек, должен буду открыть собрание, огласить манифест, об'яснить его значение, сообщить о томских событиях и предупредить о возможности выступлений черной сотни. Спутники же выступят с организационными вопросами и с раз'яснениями программ своих партий.

О нашем приезде в Тайгу уже было сообщено и нас ожидали.

Приехали. Остановились у обширной ярко освещенной сборной мастерской, не доехав до станции.

Нас встретили. Дружное „ура" и вой свистков дежурных паровозов возвестили о нашем прибытии, созывая всех рабочих на собрание.

— Товарищи, у нас пять человек арестовано! — кричит кто-то.

— Освободить немедленно!

— Эге! Нас уже выпустили, как узнали, что вы едете,— восклицает один из выпущенных.

— Поздравляем вас, товарищи, с падением самодержавия,—кричим мы.

— Ура, ура! да здравствует рабочий народ!—отвечают нам.

Мы отправляемся в сборную.

Просторное помещение сборки и ремонта паровозов заполняется рабочими. Один из верстаков очищается от инструментов и материалов—трибуна для ораторов.

— Начинайте,—толкает меня в бок товарищ с.-р.

Я смущен. Мне никогда не приходилось выступать с речами на таких многолюдных собраниях. Медленно взбираюсь на верстак с мыслью, что лучше бы удрать. Сотни глаз смотрят на меня. Я волнуюсь и окончательно теряюсь. Подготовленное вступительное слово испарилось. От волнения замирает дыхание. Мысль о том, нельзя ли удрать, сверлит мозг.

— Начинайте с манифеста! крикнул кто-то издали.

— С манифеста, манифеста!—подхватили другие.

У меня отлегло. Прочесть—то я смогу, а за время чтения, может быть, и мысли вернутся на свое место.

Прочел. Раз'яснил его смысл и значение—и разошелся: нарисовал перспективы, предупредил о возможном выступлении черной сотни и полиции и призывал без промедления приступить к организации забастовочного комитета для упорядочения внутренней жизни по линии профессиональной, а со стороны партийной—форм общегосударственных отношений. После меня выступили партийные товарищи.

Я отошел в сторону. Вдруг подходит ко мне телеграфист и сообщает, что в Томске—не ладно: горит подожженное здание управления Сибирской ж. д. и идет избиение студентов и железнодорожников.

— Не может быть! Ведь там организована милиция. Что же она делает?—спрашиваю я.

— Не знаю, а пожар и погром—факт,—настаивает телеграфист.

В недоумении бегу на станцию справиться у дежурного помощника о событиях. Он тоже не знает подробностей, но его тревожное настроение заражает и меня. Я прошу его добиться подробностей и сообщить мне в буфет.

Пассажирские залы переполнены публикой, выброшен-

ной из поездов воинскими частями, возвращающимися с театра военных действий на родину. Все в томительном ожидании известий о том, что делается вне стен станции, когда и как кончится это выжидательное положение. Каждого ново появившегося человека забрасывают вопросами, на которые не ответил бы и сам Соломон.

Засыпали запросами и меня.

— Говорят, идет митинг в мастерских?

— Да,—отвечаю я.

— Вы с митинга?

— Да.

— Скоро ли прекратится забастовка и пустят поезда?

— Поезда ходят,—какая уж тут забастовка,—возражаю я.

— Воинские ходят, а когда же нас отправят с пассажирским?

— Какие же теперь могут быть пассажирские поезда, когда солдаты выбрасывают публику из вагонов и сами занимают ее места? Вам выгоднее уже сидеть на станции, где хоть кормиться можно.

— Это правда, но войдите в мое положение,—говорит какой-то доктор. Мой санитарный вагон с аптекой и сестрами милосердия застрял и стоит уже второй день.

— Вольно вам стоять. Идите и заявите забастовочному комитету, чтобы вас прицепили к первому отходящему поезду.

— Куда? На митинг?

— Конечно.

— И вы не шутите?—недоумевает доктор:—идти к забастовщикам?

Я вспылил:

— Доктор, имейте голову на плечах и не говорите глупостей.

Он посмотрел на меня с большим удивлением, (очевидно, хирург, а не психиатр...), хотел что-то сказать, но махнул рукой и пошел.

Добрых полчаса осыпали меня подобными вопросами и разными просьбами. Старый генерал долго прислушивался к нашим беседам, но участия не принимал, не желая ронять своего достоинства; наконец, сдался:

— Э, э, послушайте, прикажите вашему, как он там называется, комитету отправить и мой вагон.

— Генерал! я не исправник, и приказывать забастовочному комитету не могу; и, поверьте мне, я в нем не имею права голоса. Обратитесь к нему лично сами,—растолковал я ему.

— Ну, уж извините,—забастовщиков просить не стану!

— Воля ваша,—отвечаю я ему и вдруг почувствовал, что кто-то теребит меня по плечу. Оборачиваюсь—и вижу сияющее лицо взволнованного доктора.

— Ну, что—спрашиваю его.

— Да вы не можете себе представить, какой я идиот!—выпалил он.

— Не представляю и сомневаюсь в этом, а в чем дело?

— Пошел я в мастерские и думаю, вы понимаете, встретить там зверей, безтолковые разговоры, ругань, угрозы и т. п. Каково же было мое удивление, вы понимаете, когда я услышал простые, деловые разговоры об упорядочении течения забастовки. Поезда решено пускать одной скоростью, без обгона. по очереди прибытия. Требовать от каждого прибывающего эшелона двух делегатов в состав комитета, понимаете, для наблюдения за порядком на станции, взамен жандармов, устранившихся от своих обязанностей. Вы понимаете, все это было так просто, деловито и так ново для меня, что я долго не решался выступить со своей просьбой. Мне казалось, понимаете ли, что моя просьба так ничтожна, мелка и неуместна в ряду тех постановлений, которые сыпались одно за другим. Вы понимаете....

— Понимаю, доктор, понимаю,—перебил я его восторженный доклад:—ну, а вам то все-таки разрешили?

— С полуслова! Не дали даже об'яснить, почему и зачем.

Речь „новообращенного“ произвела на публику впечатление. Начался переполох.

— Идем, послушаем и попросим,—раздались голоса.

Публика отвалила к выходу, и только обиженный мною генерал стойко остался на своем посту. Еще мрачнее сделалось его лицо, еще ниже надвинулись на глаза брови и вся фигура его выражала твердое решение не сдаваться.

Прошло не мало времени, а дополнительных известий из Томска не поступало. Раздался свисток нашего паровоза. Митинг кончился. Пора было возвращаться.

Сообщили дежурному по станции о своем от'езде, уселись в вагон и отправились обратно. Двое товарищей остались в Тайге, но пассажиров набралось много.

Под'ехали к раз'езду Сураново. Нас встречает все население его,—обмениваемся приветствиями. Я спрашиваю о Томске и слышу:

— Управление горит, много управленцев убито, несколько магазинов разграблено, да патрули казачьи рыскают по всему городу, вот и все, что удалось узнать,—сообщает мне начальник раз'езда.

— Ведь сегодня воскресенье, как же очутились служащие в управлении?—недоумеваю я.

— Не знаю: телеграфисты боятся говорить по телефону,—вероятно, у них в телеграфе сидят жандармы.

— Так скажите Басандайке,—кричу я на прощанье,—пусть по телеграфу соберут подробные сведения, если нельзя по телефону.

Отправились дальше. У всех на лицах полное недоумение:—магазины грабят, а железнодорожников избивают,—очевидно, это дело черной сотни. Затем, патрули по городу раз'езжают.... Зачем? Очевидно, усмиряют черную сотню; но откуда же у нея такая сила и смелость? Возможно, что и полиция им помогает,—об этом еще вчера на митинге в Томске сообщали.

С такими заключениями прибыли мы в Басандайку.

Помощник мой Якимов, горячий поклоник с.-ров, встречает нас в каком-то поношенном кожухе и рваных валенках:

— Переодевайтесь и едем в Томск. Кожух и валенки я вам приготовил.

— Погодите,—покуда паровоз будет брать воду, расскажите толком, в чем дело.

И он сообщил нам:

— Черносотенцы с переодетыми полицейскими во главе, с царскими портретами и флагами в руках устроили патриотическую манифестацию. Под охраной казаков и солдат подошли они к управлению и начали громить окна нижнего этажа. Служащие по случаю 20 числа и праздника отправились в виде прогулки с детьми, а некоторые—и с женами, в управление за получением жалованья. Когда разгромили нижний этаж, где помещается служба пути, служащие забрались во второй и забаррикадировали ходы. Командный состав потребовал сдачи осажденных для препровождения их в тюрьму, дав пятнадцать минут на размышление. По окончании срока только два инженера—

Шварц и Калиновский, поверив обещанию, вышли на улицу в сопровождении двух офицеров. В двадцати шагах от выхода они были убиты кольями на глазах манифестантов и смотревших в окна сослуживцев. После этого привезли два воза сена, дров и керосина, натолкали все это в разбитые окна, облили керосином и подожгли. А вы знаете, сколько там столов с планами, шкафов с разными бумагами и договорами.

— Знаю, знаю, ну, что-же дальше?

— Ну, что-же дальше? Долго горел нижний этаж, начал гореть потолок и окна второго. Пожарные приехали, но тушить им не давали, перерезали шланги, и теперь наверное сгорят все запершиеся. Часть толпы до пожара направилась к вокзалу под защитой казаков громить станцию. Наш жандармский ротмистр Ковалев собрал из своих жандармов и служащих станции охрану и за полосой отчуждения встретил погромщиков. Переговоры продолжались долго, после чего погромщики вернулись в город, а Ковалев—на станцию, где об'явил, что только его защите станция и ея служащие обязаны своим спасением. А теперь передают, что Ковалев опять пришел на станцию со своими жандармами, а во дворе расположились казаки и ждут нашего поезда.

Рассказ Якимова навел на всех нас ужас. Не хотелось верить, чтобы в XX веке могли повторяться картины средних веков. Почему железнодорожников бьют, а не защищают их от озверевшей реакции? События были так нелепы, что не поддавались пониманию. Все мы, точно пришибленные, долго молчали. Кто-то из спутников прервал, наконец, молчание:

— Да кто эти погромщики, откуда они набрались?

— Полная неразбериха,—об'ясняет Якимов:—одни говорят о манифестации, другие—о погромной толпе.

Должно быть это—одно и то же.

— Так зачем же ехать теперь,—ведь нас арестуют? Лучше утром пойдем пешком.

— Ерунда,—с уверенностью заявляет Якимов,—замедлим ход у семафора, повыскакиваем из вагона и, пока казаки с жандармами будут брать приступом пустой вагон, мы кратчайшей дорогой через лесок проникнем в город. Там, может быть, организуется уже самооборона, а мы спим. Едем!

В управлении служила жена Якимова, а у меня—дочь: долго раздумывать не приходилось. Я быстро переоделся и отправился.

В вагон сел и наш машинист, оставив на паравозе своего помощника до раз‘езда, где остановок почти не было.

Мы приступили к обсуждению плана действий. Было решено остановиться у раз‘езда, дать проследование, а за время стоянки разузнать о движении на станции; затем, не доезжая семафора, на полном ходу выскочить,—кому нужно в город. Пять человек, служащих на станции—доктор, акушерка, плательщик, развозивший жалованье и еще двое—порешили оставаться, так как жили они на самой станции.

План был приведен в исполнение. На раз‘езде остановились, дали проследование, а через 2—3 минуты узнали, что казаки спешились и оцепляют с жандармами место предположенной остановки нашего поезда, а чтобы он не проследовал безостановочно наложили, на рельсы шпал.

С этим сообщением мы и отправились—в полной уверенности, что перехитрили жандармов.

Так и случилось. Покуда жандармы возились с выяснением личности прибывших,а Ковалев уверял по телефону губернатора о том, что в поезде революционеров нет, вести в тюрьму некого, а за прибывших он ручается,—мы были уже в городе.

В город направились мы врассыпную, сговорившись с Якимовым встретиться на соборной площади против горевшего здания управления, я поспешил на квартиру дочери. Добравшись, я постучался: хозяева узнали меня по голосу и впустили, торопясь успокоить меня.

— Не волнуйтесь: Маня в безопасности, ничего с ней не случилось. Хорошо, сделали вы, что переоделись, а то по студенческим и вашим фуражкам признают и убивают.

— Ну, а где же теперь дочь?—допытываюсь я.

— Она, как и другие, пошла получать жалованье. Служба движения помещается не в общем корпусе, а во флигеле у театра. Во время осады и поджога театра и управления, их вывели и, по распоряжению губернатора отправили под конвоем в тюрьму, Личности выяснены, никого постороннего с ними не оказалось, и утром их выпустят.

Успокоившись, я поторопился на соборную площадь, обещав хозяевам скоро вернуться ночевать.

С высоты ступенек собора картина пожара и избиения людей видна была во всем своем ужасе. Окна двух нижних этажей смотрели на нас огненными глазами. Языки пламени поднимались кверху и облизывали окна верхнего этажа. Стекла лопались и со звоном падали на землю. По переплетам окон бегали огоньки, то ярко вспыхивая, то опять потухая. На крыше по временам появлялись темные силуэты обезумевших людей, искавших спасения.

Из-за голов солдат, стоявших за церковной оградой, виднелась толпа погромщиков, а за ними, на тротуаре, огонь освещал двенадцать куч убитых. Национальные флаги и два царских портрета дополняли картину.

В одной из куч кто-то зашевелился. Четыре кола мелькнули в воздухе, и до нашего слуха дошли глухие удары. В нашей группе кто-то ахнул и тяжело вздохнул, кто-то заскрежетал зубами, а очнувшаяся жертва судорожно вздрогнула, вытянулась и вновь замерла.

Вот с крыши свесился кто-то, ухватился ногами за водосточную трубу и начал спускаться по ней. Я почувствовал в горле спазмы, сердце перестало биться, по телу пробежала дрожь.

„Спасется, или не спасется?"—промелькнуло в голове.

Сухой треск двух-трех выстрелов нарушил могильную тишину. Я вздрогнул и замер, не соображая, что случилось.

— Промахнулись мерзавцы!—Шепчет кто-то сзади меня.

— Неужели?—хочу спросить я соседа, но три новых выстрела раздаются в ответ на мою мысль.

Сползавший взмахнул руками, откинулся на спину и камнем полетел вниз. Опять мелькнули дубинки, снова послышались глухие удары, и четыре фигуры закопошились около новой жертвы, ощупывая тело убитого, точно собираясь подать ему помощь.

— Что это они делают?—спрашиваю я соседа.

— Тише!—шепчет сосед,—сегодня получка, так вот ощупывают карманы.

Меня охватила дрожь. Зубы судорожно стучали, прикусывая язык при попытке произнести слово. Пытаюсь спросить соседа, неужели же никто не может прекратить это зверство, но вместо слов вылетают странные звуки, похожие на заикание или всхлыпывание.

Сосед угадывает мой вопрос, берет под руку и шепчет:

— Высшая администрация ходила к губернатору, но ничего не вышло. Он заявил, что не имеет права выступать против мирной патриотической манифестации и не в силах прекратить взрыв народного негодования против революционеров. Обещал запросить министра о разрешении прекратить избиение. Пока получится ответ, он из своего дома,— вот налево,—смотрит на то, что делается.

— А духовенство?

— Ходили к архиерею, просили выйти в облачении, с хоругвями и иконами, и знаете, что он ответил?

— А что?

— „О чем вы хлопочете? ведь там только еретики собрались. Грех защищать еретиков, это—противно воле божьей". Депутаты заткнули уши и ушли. А вон и пожарные бездействуют: у них порезали шланги и не дали тушить.

Охваченный ужасом и бессильной злобой, я собрался уходить. Вдруг навстречу мне, поднимаясь по ступенькам лестницы, появились четыре фигуры По рясам и посохам в руках я узнал архиерея Макария, его диакона А. Владимирова и еще двух попов*).

Губы архиерея шептали, казалось, молитвы. В двух шагах от меня он остановился, молитвенно сложил руки на посохе, и уставшивись на зрелище, забормотал быстро что-то.

Постояв немного, он поднял глаза к небу, перекрестился и с глубоким вздохом сказал:

— Господи, господи, и сколько этих еретиков набралось!

Я поспешил уйти.

Теперь, восстанавливая в памяти эту сцену и вновь переживая пережитое и перечувствованное в те минуты, я не могу понять, как я не вцепился тогда руками и зубами в горло этого лицемера и не задушил его. Очевидно, панический ужас зрителей убил во мне всякую смелость и решительность.

Утром вернулась дочь. Пришел и Якимов с женой. Один за другим забегали знакомые дочери, чтобы справиться о ней и о других арестованных.

---

*) А. Владимиров, весьма светский диакон, имел большую заимку с пасекой недалеко от станции Басандайка. Позже, проезжая как-то на свою заимку, он говорил мне о неуспехе у архиерея нашей депутации. Ночью он едва уговорил его выйти на площадь, надеясь вызвать в архиерее чувство человечности.

Каждый приходивший сообщал какие-нибудь новые подробности из событий дня. Краски одна за другой ложились на картину, и она понемногу выяснялась, становясь, ярче и ужасней.

В течении 18 и 19 октября шла усиленная агитация полиции и жандармов о необходимости организации патриотической манифестации для защиты веры, царя и отечества от евреев и забастовщиков, которые делают смуту для того, чтобы посадить на престол своего царя—еврея, закрыть церкви, обратить их в театры и т. п.

Агитация эта началась еще 17 октября—после вечернего совещания у губернатора о мерах борьбы с революцией.

Провокаторы собирали на улицах кучки слушателей и под видом революционеров рисовали перспективы, возмущавшие религиозное и национальное чувства слушателей.

В воскресенье, 20 октября, у здания второго участка полиции начался сбор участников патриотической манифестации. Собравшимся вручены были иконы, портреты царя и царицы, а также дубинки—порезанные ручки пожарных багров—для защиты от нападения со стороны революционеров. Часов в 12 дня толпа с пением двинулась к собору на молебен. По дороге эта мирная манифестация убила повстречавшегося страхового агента Яропольского, а немного дальше—и студента Кадыка за неснятие шапки. У обувного и шляпного магазина Слосмна и Шура, на дверях которого кто-то мелом сделал надпись:—„евреи“, толпа остановилась, бережно установила у стены свои портреты и иконы и начала громить его. Свободных рук было достаточно, и почти одновременно начался разгром соседнего богатого магазина томского купца—не еврея. Такой характер погрома, очевидно, не входил в программу мирной манифестации, и погром был быстро остановлен. Забрав иконы и портреты, процессия отправилась дальше к собору, у которого были собраны пешие и конные войска для защиты манифестантов от нападения революционеров.

По окончании обедни началось торжественное молебствие; затем произнес архиерей длинную речь, которую он закончил обещанием:

— Не пожалевший крови и живота своего удостоится царствия небесного.

После этого толпа повернулась направо, лицом к дому губернатора. Снова начались речи. Говорили губернатор, мещанский староста и другие. Смысл их был тот же: не щадить крови и жизни для защиты церкви, царя и отечества—без определения, чьей крови и жизни...

Уже в сумерки толпа начала разгром и поджог театра и помещения управления Сибирской дороги при подбодряющих криках:

— Разорим гнезда забастовщиков! Камня на камне не оставим.

В тот же вечер разгромили дом городского головы Макушина, изломали мебель, экипажи и убили корову.

На страницах вышедшей после погрома „Сибирской Жизни“, поименный список погибших в здании управления доведен был до 213 лиц, не считая пострадавших, но спасшихся.

Увиденное и услышанное за эти дни оставило в каждом из нас густой осадок горечи, безсильной злобы, ужаса и разбитых надежд. Хотелось бежать подальше от хищных зверей, „идейно“ преданных царизму и рассыпавшемуся строю.

Я с дочерью и Якимов с женой поторопились уехать домой, где застали массу беженцев, спасавшихся от погрома, полиции и жандармов, „душивших революцию“ по частным квартирам.

Все обступили нас тесным кольцом, торопясь узнать новости дня. Однако наши разсказы навели на всех уныние:—вчера был день светлых надежд, сегодня—разбитых мечтаний.

Измученный, усталый я побрел домой отдохнуть и заснул мертвым сном.

Вечером я пришел на станцию и увидал, что настроение несколько повысилось,—получились сведения о прекращении погрома. Наступающий день обещал беженцам безопасное возвращение домой.

Телеграфисты установили у телефона непрерывное дежурство добровольцев. Телефонные разговоры записывались в специально заведенный ими журнал. Записи эти составили нечто в роде хроники местной газеты.

Я просматривал хронику, когда меня неожиданно позвали:

— Скорее к телефону! Губернатор включился в наш провод и вызывает из Тайги представителей забастовочного комитета!

Беру трубку и через минуту слышу:

— Я у телефона, что угодно?

— Ваша фамилия?

— Машинист Александров, председатель забастовочного комитета, а вы кто?

— Губернатор—Азанчеев-Азанчевский. Предлагаю немедленно прекратить забастовку и отправить пассажирский поезд.

— Предлагаю немедленно освободить из тюрьмы машиниста делегатского поезда и пригласить его к телефону. Без этого комитет не может вести переговоры с вами о прекращении забастовки.

— Сначала прекратите забастовку, тогда я выпущу машиниста.

— Нет, комитет не согласен.

— Так передайте вашим товарищам, что если завтра не начнется пассажирское движение, я расправлюсь с ними так, как расправился с их томскими товарищами!

— Кто слушает у телефона,—раздался сильный голос Александрова,—пусть будет свидетелем заявления. Убийства на улицах и сожжение служащих в здании управления—дело приказа губернатора.

— Слышим, слышим,—загудели в трубках голоса.

Переговоры прекратились, и только утром я прочитал в нашей хронике:

— Я, Азанчевский, по просьбе служащих управления отправляю провизионный поезд....

— Я, Александров, а кто машинист поезда?

— Машинист вашего делегатского поезда.

— Так, продолжайте дальше.

— Отправляю поезд. С поездом рассылаю по станциям копии двух телеграмм о милостивом распоряжении государя прекратить преследование забастовщиков, если 26 октября будет восстановлено нормальное движение поездов.

— Хорошо. Прибудет поезд, прочтем телеграммы и обсудим. Пока считаю долгом предупредить, что нормальное движение поездов не может быть восстановлено, так как оно нарушено буйством воинских частей, подстрекаемых командирами армий в Чите и Харбине.

— Будьте покойны,—уже приняты решительные меры против буйства солдат и самовольной посадки в поезда команд. Части будут отправляемы по плану и без оружия. Коменданты станций уже получили распоряжение об этом.

Часа через два прибыл провизионный поезд по наряду томского забастовочного комитета. С поездом и получились упомянутые губернатором телеграммы. Пониженный тон Азанчевского при переговорах по телефону и просительный тон телеграмм произвели успокаивающее впечатление. Казалось, зверствам наступил конец.

Провизионные поезда начали курсировать ежедневно. Застрявшие пассажиры устраивались в воинских или санитарных поездах, но нормальное движение поездов еще долго не могло наладиться. Восстанавливалось оно постепенно—из узловых центров.

Числа 28, если не ошибаюсь, уже получены были столичные газеты, кой-какая литература и сатирические журналы, вышедшие явочным порядком без цензуры; и все это раскупалось на расхват. Вышла и местная газета.

Забастовка пошла на убыль, революционное же настроение масс повышалось. Выяснилось, что погромы в октябрьские дни произошли повсеместно и однообразно, и везде замечался след кровавой руки Трепова.

Октябрьские события закончились, наступил период ликвидации их.

Губернатор вскоре был смещен,—очевидно, за то, что не точно выполнил инструкцию и перестарался.

Заведомые черносотенцы открещивались от своего участия в погроме путем заявлений в „Сибирской Жизни".

Следователю по особо важным делам предписано было произвести расследование о событиях.

По просьбэ следователя, я и Якимов собрали богатый следственный материал, который мы должны были представить ему по его запросу. Но следователя куда-то перевели, материал пришлось сжечь.

Вера в победу революции над реакцией долго жила у линейных служащих Сибирской дороги. Ее подкрепили дальнейшие события на линии, декабрьские события в Красноярске—и так прочно, что известие о назначении карательной экспедиции Меллера-Закомельского с запада и Рененнкампфа с востока понято было нами, как мера за-

щиты линейных служащих дороги от буйства банд царских войск. Со дня на день мы ожидали партийных выступлений рабочих масс для поддержки нашей забастовки....

Действительность наказала нас за легкомыслие наше. В ореоле октябрьских и дальнейших событий еще раз показался образ Николая II, нарисованный событиями 9-го января.

Гр. Борзяков.



1905 г. на Ржевском участке Московско-Виндаво-Рыбинской ж. дороге и в городе Ржеве.

Прологом памятных событий 1905 года, несомненно, явилась трагедия 9 января в Петербурге. Рабочие, в своей массе еще не охваченные революционными организациями и будучи, за небольшим исключением, политически малограмотными, оказались загипнотизированными елейными речами попа Гапона—охранника в рясе. Рабочие массы Петербурга вверили свою судьбу авантюристу, руководимому царской охранкой, приведшему их к страшному Кровавому Воскресенью.—Даже после 9-го января Гапон некоторое время воспевался, как вождь, призванный дать освобождение, как святой человек:

„Мы мирно стояли пред Зимним дворцом,
Царя с нетерпением ждали,
Как дети, любимые нежным отцом,
Несли ему наши печали.
Привел нас священник с иконой святой,
Он послан был нам в утешенье"...

Однако, очень скоро рабочими был осознан урок 9-го января, с жестокостью преподанный самодержавием. Значительной части рабочих он раскрыл классовую сущность старого порядка, разбил иллюзии о мирных путях к улучшению условий своей жизни и заставил окончательно принять революционный путь борьбы и мести. Молитва сменилась революционной клятвой:

„Рабочие подняли руки,
Клялись биться с венчанным врагом,
Отмстить за страданья и муки.
Рыдай, трепещи, венценосный палач,
Проклятьем страны заклейменный,
Заране конец свой ужасный оплачь,
Уж мститель идет раз'яренный"...

И вместо атрибутов религиозного культа рабочие подняли красное знамя. Октябрьская революционная волна, поднявшись высоко, разливалась по стране, переходя с больших фабрик и заводов столиц на маленькие мастерские провинциальных городов, то проявляясь в ярких политических требованиях, то ограничиваясь требованиями 8-ми часового рабочего дня и экономических улучшений...

В связь с январскими событиями нужно поставить и первую забастовку ст. Ржев Московско-Виндаво-Рыбинской жел. дороги, которая возникла в феврале 1905 года. Началась она с того, что телеграфисты под влиянием депеш, передаваемых начальством по линии, о принятии мер на случай выступлений протеста и солидарности рабочих и служащих дороги с крупными фабрично-заводскими центрами, и служащие службы движения, по роду своей службы соприкасаясь с Москвой и Петербургом и будучи всегда в курсе событий Москвы и Петербурга, а главным образом под влиянием в большом количестве распространяемой нелегальной литературы—прекратили работу и, выделив делегатов, направили последних в депо с призывом прекратить работу, выпуск паровозных бригад и примкнуть к забастовке.

Рабочие быстро откликнулись. Машинист при паровой машине депо, отказавшийся было дать гудок, рабочей молодежью был выгнан из котельного отделения, и морозный февральский день прорезал тревожный сигнал, известивший о прекращении работ. После этого рабочие, собравшись в помещении среднего ремонта, вышли из мастерских и веселой радостной толпой направились к поворотному кругу, где и встретились с телеграфистами и движенцами.

Братаясь и восторженно приветствуя друг друга и не особенно стройно распевая марсельезу, они прошли по всем служебным помещениям, требуя везде прекращения занятий. Прибывавшие с соседних станций поезда задерживались. Наряды на паровозные и кондукторские бригады были отменены. После того как все прекратили работу, было решено собраться отдельными группами по службам и выработать требования экономического характера и, за подписью работников служб, через делегатов пред'явить эти требования начальнику дороги. Сила и значение забастовки быстро сказались: были введены в мастерских 9-ти часовой рабочий день, получасовой перерыв для завтрака, выдача

обмундирования поденным, работающим в поездных паровозных бригадах, прибавка к поденному жалованию рабочих и мастеровых, а также был введен институт старост, в каковые был выбран котельщик депо Борис Матвеев.

Между прочим, расскажу здесь следующую маленькую сценку. После того, как приехавший экстренным поездом из Москвы из управления начальник тяги дороги, инженер Рафаил Костелли, на собрании в депо об'явил об удовлетворении всех требований рабочих, небольшая группа подхалимов не выдержала, побежала за стулом для начальства, чтобы отнести его к поезду. Костелли, заметив среди рабочих движение, растерялся было: „Уж не тачку ли готовят?“ Но завидев стул и, услужливо посаженный на него, растрогался и успокоился. А молодежь на эту неуместную выходку ответила по своему: кучку провожатых Костелли она проводила отчаянным свистом и непечатной руганью.

На других службах забастовка отразилась мало в смысле улучшения быта. Недовольство осталось, использовать его местная организация Р. С. Д. Р. П. не могла отчасти в силу неналаженной связи, а главным образом, воздерживаясь от массовой работы, чтобы не провалить находившуюся в городе типографию Центрального Комитета Партии, которая обслуживала большой фабрично-заводской район Москвы, Иваново-Вознесенска и др. И только Евгений Комаров-Зевс (был осужден в 1909 году по делу местной организации и Московской и позже был убит в ссылке на Лене, жил он нелегально в Ржеве, здесь в усадьбе его матери находилась типография) в редких случаях появлялся в городе в конспиративных кружках рабочих. Головка же организации в составе интеллигентов - марксистов: бр. Комаровых Александра и Валериана, кооператора Попкова, студентов Кузьмы Панкова, Петра Соколова, присяжн. повер. Митягина, Корюгина, Разумихина П., страхового агента Апостолова Б. А. и Береснева Вл., опасаясь провала типографии, не пускала работников на массовую работу, а прощупывала и намечала связи с Виндавкой через гимназистов Политылло и Рюрикова, которые, быстро войдя в связь с рабочими бр. Кривошеиновыми Николаем и Иваном, переправляли в мастерские большие транспорты нелегальщины.

А между тем рабочая молодежь, не имея руководящей

связи с организацией к моменту первой забастовки, в поисках ответов на волнующие душу вопросы стала группироваться вокруг чрезвычайно популярного и пользовавшегося большими симпатиями всех рабочих и служащих участка врача Филатова Александра Тимофеевича, еще в свои студенческие годы проявившего себя видным работником-организатором студенческого движения. Став участковым врачем Виндавки, Филатов сыграл большую и благодарную роль в деле политического воспитания рабочих, особенно молодежи. И подготовленная таким образом молодежь жадно прислушивалась к весенней волне забастовки и горячо приветствовала восстания Кронштатских и Севастопольских моряков.

Как только была об'явлена политическая забастовка в октябре, рабочие ст. Ржев Московско-Виндаво-Рыбинской жел. дороги уже совершенно сознательно выступили в октябрьскую забастовку и были первыми застрельщиками политических требований. При первом известии о железнодорожных забастовках в октябре, станция Ржев собранием служащих и рабочих депо немедля прекратила работы и движение поездов, причем вся распорядительная власть перешла к общему собранию всех работников станции. Все служебные распоряжения и работы выполнялись исключительно с ведома и разрешения собрания, которое происходило ежедневно в механической мастерской депо и на котором первенствующее значение отводилось вопросам политического характера. Трибуной ораторам обыкновенно служила больших размеров чугунная плита, на которой шабрились золотники паровозов.

Для организованного течения забастовки и сношений со Стачечным Комитетом дороги, как и в целях сношений с революционными организациями, был выбран Комитет в составе: инженера Фирсанова Дмитрия Николаевича, своей революционной сознательностью служившего рабочим тяги не за страх, а за совесть и как-бы дополнявшего Филатова, машиниста Климентьева Дмитрия, счетовода службы пути Сударикова, нач. станции Неллярда, начальн. материяльн. службы Парутовича, начальн. участка пути Собко Н. Н., дорожного мастера Вишневского Михаила Степановича, пламенного оратора-пропагандиста, и Филатова А. Т., коему и было поручено собранием руководство и председательство в Комитете.

Скоро Ржевский Комитет вошел в связь с Великолуцкими железнодорожными мастерскими. Приезд рабочих этих мастерских со специальным поездом на ст. Ржев еще больше способствовал революционизированию массы. Выступав-



Участники железнодорожного процесса: А. Т. Филатов (сидит)— председатель забастовочного комитета ст. Ржев. Н. В. Торопченов (слева) и Н. И. Кривошеин (справа).

шие на собрании в депо гости произносили пламенные речи и обращались к собранию с горячими призывами отстоять политические требования, которые излагались ими в духе социал-демократии с большевистским уклоном.

Посещение Великолуцких товарищей вызвало в свою очередь желание и у Ржевитян посетить Великолуцкие мастерские (250 верст от ст. Ржев). Был дан наряд на кондукторскую и паровозную бригады, а о дне и часе выезда было решено об'явить тревожными гудками паровозов в течении часа, так как большая часть рабочих проживала на окраинах города, на расстоянии от депо 1—1½ версты.

По приезде наших в Великие Луки, в мастерских состоялся многолюдный митинг, на котором присутствовало много учащейся молодежи великолуцких учебных заведений. Не обошлось и без маленького курьеза. К помощнику машиниста Буланову (служит и теперь машинистом в депо Ржев) на станции обратилась юная гимназистка с вопросом: „Скажите, товарищ, где будет митинг“? Буланов растерялся. Гимназистка, озадаченная неполучением ответа, смотрит на него во все глаза. Подошедший Фирсанов спросил Буланова: „Чего хочет товарищ?“—„Дмитрий Николаевич, барышня спрашивает, где товарищ Митинг“. Последовал маленький урок политграмоты, и, под веселый хохот гимназистки, иностранный „митинг“ был расшифрован.

Спустя некоторое время, но уже после об'явления так называемого манифеста 17 октября, великолуцкие товарищи вызвали ржевских принять участие в демонстрации по городу. Поездка и во второй раз состоялась. По прибытии, также как и в первый раз, состоялся большой митинг, после которого все присутствующие направились в город. Двигаюшаяся колонна в авангарде имела боевую дружину, вооруженную холодным, на-скоро изготовленным в мастерских, оружием и револьверами. Но местная черная сотня, организованная и прикрываемая властями, готовила засаду, и когда ничего не подозревавшие демонстранты, пройдя в образцовом порядке большую часть города, вступили на мост через реку и наполовину прошли его,—воинская часть, с полицией во главе, стоявшая по другую сторону моста, дала залп. Узкое пространство поставило демонстрантов в тяжелое положение. Произошла отчаянная рукопашная схватка. Исправник, схвативший было красный флаг у несшего его рабочего, пал с распоротым брюхом. Люди, борясь, сбрасывали друг друга через перила моста в реку. Было много жертв как от ранений, так и утонувших...

Возвращались ржевитяне обратно (ночью) с неосвещен-

ным паровозом. На станции нас предупреждали, что в пути нам готовится нечто еще худшее: что разобраны рельсы, чтобы вызвать крушение возвращающегося состава. Медленно-медленно, во мгле октябрьской ночи, с большой осторожностью наш поезд пробирался в Ржев.

После доклада о великолуцкой демонстрации, который был сделан на собрании, последнее постановило на похороны жертв демонстрации отправить венки с красными лентами.

На следующем собрании стал дебатироваться вопрос об организации в Ржеве отдела железнодорожного союза. Предложение было принято, и было поручено выработать проект устава союза Филатову, что последний и выполнил. Учитывая некоторый консерватизм части служащих, § 2-й устава—политическая платформа союза—был изложен в следующей редакции:

„Представляя собой групповую организацию Всероссийского Железнодорожного Союза, Ржевский союз стремится к осуществлению полной гражданской свободы и народного представительства, обеспечивающего участие всего народа в управлении страной“.

Устав, отпечатанный на мимеографе, был после этого распространен, как на ст. Ржев, так и по всем станциям участка. Кроме выработки устава, комитету было поручено взять на себя производство выборов уполномоченных для участия в организационном с'езде, имевшем целью выяснение экономического положения железнодорожников, выработку мер к его улучшению и созыв собрания для рассмотрения проекта устава. Делегаты были избраны, но с'езд не состоялся, так как наступившая декабрьская забастовка и события в Москве отвлекли к себе все внимание.

Прежде чем перейти к описанию возникновения и хода декабрьской забастовки, следует остановиться на жизни города в октябре и, в частности, на оживлении в среде местной черной сотни, идейным руководителем которой был городской голова Чураков.

Октябрьская забастовка, нанесшая удар купеческой мошне, озлобила ее носителей. Стали искать виновников, „подстрекателей—социалистов“, и, конечно, они были скоро установлены в лице нескольких еврейских семейств, влачивших жизнь „военно-статских портных из Варшавы“ и

владельцев часовых магазинов. Мещанство гор. Ржева, существовавшее работой на прядильных фабриках Гота и местных владельцев—купцов, чрезвычайно консервативное и лишенное заработка вследствие прекращения подвоза льна, представляло богатый материал для погромной агитации, чем и поспешили воспользоваться местные воротилы Чураковы, Новоторцевы. Поводом к учинению погрома послужила манифестация учащихся мужской гимназии, которые, устроив в гимназии митинг, потребовали прекращения занятий. Директор гимназии Стеблов, пытавшийся было начальнически предостеречь учащихся от выступлений, был освистан. Гимназисты, в составе старших классов, с пением революционных песен берегом Волги подошли к женской гимназии, которая к этому моменту тоже прекратила занятия. Около этого же времени, по поводу манифеста 17-го октября, состоялось собрание „ликующих граждан“ в доме либерального купца Образцова. Это собрание окончательно переполнило погромную чашу, и вот 25 октября громилы, пустив слух, что гимназисты разорвали портрет царя и кричали „долой самодержавие“, большой толпой бросились срывать вывески с закрытых магазинов с еврейскими фамилиями. Разгромили писчебумажный магазин и фотографию Малькова, часовой магазин Котловского, а дойдя до дома Образцова, высадили все окна, разбили всю обстановку в щепы и расхитили все ценности. Сам Образцов с семьей спасся чудом. Весь погром происходил на глазах полиции и гарцевавшего по Филатовской улице эскадрона местных драгун.

В другой части города, за Волгой готовился погром иного рода. Прядильщики собирались громить купеческие амбары с хлебом: местные хлеботорговцы, поднимая цены, не выпускали на рынок хлеба. Но попытка не удалась, так как здесь те же драгуны ревностно несли охрану амбаров от голодных.

Наиболее активные погромщики впоследствии, для успокоения общественной совести, были привлечены к судебной ответственности и осуждены в арестантские роты, но высочайшей милостью были от наказания освобождены.

Только закончилась октябрьская забастовка, и жизнь стала входить в нормальное русло, как в ноябре была готова разразиться новая забастовка — забастовка протеста против вынесения смертного приговора инженеру Соколову

и другим в крепости Кушке. Из Самары, а затем из Коканда были переданы телеграммы следующего содержания:

„Телеграмма из Самары № 4013 подана 12 ч. 30 мин. ночи.

По всем линиям Самаро-Златоустовской жел. дор. и всем станциям Российских жел. дор. Москов. Виндав. инженеру Романову. СПБург Николаю Елизарову.

Товарищи, так как приговор над Соколовым и другими приостановлен, но не отменен, то просим товарищей начать забастовку с 12 час. ночи с 22 на 23 ноября, выставив требования отмены смертной казни и военно-полевых судов.

Движение санитарных и воинских поездов продолжается безпрерывно, поссажирские поезда должны развести пассажиров до мест назначения, но выдачу билетов не производить. Телеграф должен поддерживать сношения и обслуживать аппараты по отправлению воинских поездов. Председатель Самарского Железнодорожного К-та Осеев."

„Из Самары за № 4044 подана 12 ч. 30 м. ночи.

Харбин Армия и по всем станциям Российских ж. д. Москва Виндавская инженеру Романову, СПБург Николаевская Елизарову и Орехову.

Товарищи солдаты и офицеры. Собрание в несколько тысяч человек железнодорожных служащих постановило перевозить вас всех, несмотря на забастовку, о чем собрание просит довести до сведения всей армии. Мы с вами и за вас, товарищи. Мы требуем отмены смертной казни и военно-полевых судов. Да здравствует Армия. Самарский Комитет".

„Из Коканда телеграмма № 2799 подана 12 ч. 30 м. пополудни.

Петербург, Графу Витте.

До конца казни Кушке остается несколько часов времени от генерала Редигера получен запрос касательно причин об'явления Кушки в осадном положении и предания полевому суду необходимо сейчас не теряя времени ни минуты отложить суд, потом ждать об'яснения, иначе казнь возляжет пред всей Россией на Вашу личную ответственность. Этот отписок (?) требует энергичных действий отсрочек суда предупреждаем телеграмма послужит документом для всего народа для Ваших действий в деле спасения четырех жизней и Вашего имени в России. Представители разных групп населения Александров, Алеев, Слуцкий, Грунберг, Мирошников."

„Телеграмма из Самары № 4077 подана 9 час. 40 м. вечера.

По всем станциям Российских железных дорог.

Виндавское Управление Романову.

Товарищи, чтобы иметь все сведения по телеграфу необходимо иметь правильное телеграфное действие не делая перерыва. Случайные повреждения немедленно исправлять. Председатель Самарского комитета Осеев."

„Телеграмма из Управления Виндавской жел. дор. подана в 10 час. 30 мин. ночи.

СПБург Министру Путей сообщения за № 1288. Копия Правлению, Министру графу Витте, министрам Дурново, Редигеру, копия по всем станциям, Правлениям, Управлениям Российских ж.ж. д.д. Москва, Центральному Бюро Железнодорожного союза и Стачечного Комитета Советам рабочих Москвы и СПБурга, Союзу инженеров.

Слова Вашей депеши, что дело Соколова и его товарищей будет вновь пересмотрено мы понимаем так, что суд над Соколовым и его товарищами назначен гласный и что смертная казнь ни в коем случае допущена не будет и военно-полевые суды вообще допускаемы не будут, ждем категорического ответа до 10 ч. утра 23/XI. Общее собрание служащих Московской сети Москв.—Виндав.—Рыбинской жел. дор. под председательством Романова".

„Телеграмма № 1243 подана 10.40 пополудни.
Начальникам и Управляющим жел. дор.

Прошу об'явить служащим на полученные мною заявления, что о полевом суде в Кушке неизвестно, получив телеграммы военный министр немедленно запросил Ташкент, Асхабад и Кушку таковая неизвестность могла произойти только от телеграфной забастовки. Граф Витте."

И после того как, повидимому, выянилось, что жизни инженера тов. Соколова и другим осужденным в крепости Кушке не угрожает смертная казнь, дорога возобновила работы.

Позднейшие сведения, задержанные вследствие почтово-телеграфной забастовки, принесли печальную весть, что несмотря на протест Соколов был расстрелян.

Спустя две недели, а именно 6 декабря на ст. Ржев были приняты телеграммы от конференции 29 железных дорог и 7/XII телеграммы Московского стачечного К-та Виндавских жел. дор. о начале забастовки в Управлении и на станциях Москва и Подмосковская. Упомянутые телеграммы в копиях немедленно были переданы председателю Ржевского К-та Филатову А. Т. Другие члены, Собко и Фирсанов, 5-го декабря выехали с вспомогательным отрядом на ст. Мостовую, где произошло крушение. Но, узнав на телеграфе ст. Мостовой об об'явлении забастовки, поспешили возвратиться в Ржев, куда и прибыли к моменту назначенного собрания в депо в 6 ч. вечера.

По открытии собрания Филатов А. Т. огласил собранию полученные телеграммы:

„Телеграмма № 219 из Москвы от 7/XII подана 2 ч. 30 м. дня.

Принята была 2—45 дня. От Москвы до Виндавы всем служащим и рабочим. Общее собрание служащих Управления 7/XII присоединяется к Всероссийской забастовке, об'явленной конференцией 29 дорог, Центральным Бюро Всероссийского Союза. Работы в Управлении прекратились, Москва и Подмосковная также присоединились к забастовке и прекращенной работе. Руководительство поручено особому Стачечному Комитету. Мероприятия по привозу хлеба для голодающих крестьян и продуктов линейным служащим должны вырабатываться и осуществляться местными линейными комитетами по возможности по согласовании со Стачечным Комитетом. Пассажирские поезда до получения настоящей депеши должны итти до места назначения, а товарные остаются, где застанет их настоящая депеша, до распоряжения местных Комитетов, паровозы возвращаются в свои депо. Стачечный комитет."

„По всем станциям, Управлениям и Правлениям Российских железных дорог, всем служащим мастеровым и рабочим.

Товарищи, Правительство, уступившее под давлением всеобщей октябрьской забастовки и об'явившее 17 минувшего октября высочайший манифест о свободе слова, собраний, союзов и неприкосновенности личности, теперь отказывается от своего манифеста, вместо свободы слова, оно закрывает лучшие газеты, вместо свободы союзов—грозит тюрьмой за участие в железнодорожном и почтово-телеграфном союзах, вместо неприкосновенности личности арестовывает Совет Рабочих депутатов в СПБурге, членов Крестьянского Союза в Москве и прочих граждан в других местностях России. Оно выбрасывает сотни тысяч фабричных заводских рабочих на улицу, оно усмиряет голодных крестьян помощью генерал-ад'ютантов и пулеметов, оно предает военно-полевому суду восставших солдат и матросов. Товарищи, каждый из нас понимает, что без упомянутых выше свобод и наших союзных организаций наше экономическое и правовое положение не только не улучшится, но станет еще хуже. Правительство накануне банкротства, и мы рискуем потерять даже и те сбережения, которые внесены нами в пенсионные и сберегательные кассы, запрещая и нарушая свободы, об'явленные манифестом 17/X, Правительство таким образом становится само мятежным. Поэтому крамольники не те, которые борятся за свободу, а само правительство, которое нарушает им же изданные законы. Товарищи, больше терпеть нельзя. Правительство вызывает нас на новый бой, пусть будет так, вина за последствия падет на преступное Петербургское Правительство. Конференция депутатов от 29

жел. дорожных союзов, присоединяясь к постановлениям Совета Рабочих Депутатов Петербурга и Москвы, об'являет с 7 сего декабря всеобщую политическую забастовку. Об'являя эту забастовку, мы берем на себя возвращение войск из Манджурии и доставим эти войска в Россию скорее, чем это сделало бы правительство. При этом обращаемся к нашим братьям военным в Манджурии, чтобы они сами во время следования по железным дорогам оказывали содействие нашим организациям и поддерживали порядок, установленный нами. Пассажиров, захваченных забастовкой в пути, мы доставляем до ближайшего города в направлении их следования. Кроме того мы принимаем все меры для перевозки продовольственного хлеба голодающим крестьянам, провизию для товарищей на линии. От старого правительства ждать больше нечего, оно изжило себя. Только Учредительное Собрание, избранное на началах всеобщего, равного, прямого и тайного голосования, выведет Россию из того положения, в которое ее поставило преступное правительство, и до тех пор, пока существует военное положение, усиленная охрана, пока свободе слова, печати, собраний, союзов и неприкосновенности личности угрожает опасность, всеобщая политическая забастовка не может прекратиться, она должна продолжаться. Итак товарищи, смело и дружно в борьбу за освобождение всего народа, мы не одни, городской пролетариат, трудовое крестьянство и сознательная часть армии и флота уже встали за народную свободу, за землю за волю.

Конференция депутатов от 29 жел. дорожных союзов.

Петербургский Совет Рабочих Депутатов об'явил от имени Петербургского пролетариата всеобщую политическую забастовку с 12 ч. дня и так, да здравствует забастовка“.

После ознакомления с телеграммами, Комитет, учтя, что значительная часть рабочих и служащих еще находится в пути и не прибыла в Ржев, внес предложение, что согласно телеграмм бригады должны оставить поезда на станциях, где кого застанет телеграмма Московского Стачечного К-та и ехать по своим участкам резервом, и перенес окончательное решение о присоединении к забастовке к моменту прибытия всех отсутствующих товарищей. На другой день, по прибытии бригад тяги и движения, открывшееся в депо собрание с участием всех служб станции, на котором число присутствующих достигало свыше 300 человек, еще раз заслушало телеграммы и речи Филатова, Фирсанова и Собко о необходимости забастовки и солидарности с Московским Стачечным Комитетом. Вишневский же произнес яркую агитационную речь о необходимости свержения самодержавия

и захвате железных дорог и фабрик в управление самими рабочими. Замеченный среди присутствующих на собрании жандарм железнодорожного отделения Шех, по требованию всех присутствующих и под свист и крики „вон его мерзавца“, должен был скорее убраться. Но случайно оказавшиеся на собрании доверенный братьев Нобель—Иванов и крестьянин Лезунов впоследствие информировали представителей жандармского отделения обо всем, что происходило на собрании. Затем, приняв голосованием решение присоединиться к забастовке, собрание приняло также ряд мер к тому, чтобы уберечь от замерзания паровозы, стоявшие вне депо; по охране станционной кассы, грузов на товарной станции и работ по под'емке паровоза на ст. Мостовой; и известило Московский Комитет о принятом решении забастовать.

Дальнейшее течение забастовки направлялось ежедневными собраниями в депо, на которых горячо обсуждались сведения о революционном движении, снова охватившем Россию.

С'организовался хор в составе телеграфистов: Матузова Ивана, слесарей Немилова Димитрия, Малыгина Александра, Смирнова Александра, Ломанова, машиниста Клестова и др под руководством инженера Кислова, обладавшего прекрасным баритоном. Хор разучивал в кузнице Интернационал, Марсельезу, Варшавянку и Машинушку; последняя в исполнении Кислова собирала большое количество слушателей.

На одном из собраний было решено обезоружить станционных жандармов, так как за день до об'явления забастовки в приемный покой был доставлен избитый жандармами рабочий; но жандармы, очевидно предупрежденные, скрылись со станционных квартир в город и больше на станцию не появлялись. Дней через шесть с момента об'явления забастовки ревизор движения барон Корф при сочувствии части его подчиненных—телеграфиста Радионова П. И., билетного кассира Обидина—вывесил в помещениях своей службы телеграмму начальника дороги Островского. В телеграмме впервые прозвучала угроза, в ней говорилось, о том, что служащие, до 12 час. дня 12 декабря не приступившие к занятиям, будут считаться уволенными.

Старались приложить все усилия сорвать забастовку и тем самым открыть путь в Москву для притока карательных отрядов к моменту готовившегося вооруженного восстания.

Корф был немедленно вызван Комитетом на собрание для об'яснений по поводу вывешенной телеграммы, скрепленной его подписью, а также по поводу агитации среди движенцев за срыв забастовки. Корф—выхоленная баронская фигура—в своих об'яснениях старался бить на физиологические свойства желудка. Говоря, что старшие начальники, призывая подчиненных к политической забастовке, ведут их за собою к голоду и лишениям, он спрашивал: как можно бастовать, „когда в желудке пусто?" (буквальное выражение), а относительно политических целей забастовки выразился, что они ему совершенно не понятны. Дальнейшее красноречие Корфа было прервано криками рабочих „долой, вон его, бойкот", и с незаконченной речью Корф сошел растерянный с трибуны.

Вслед за ним выступивший Фирсанов сказал в своей речи собранию: „Товарищи, без свободы политической рабочему нечего надеяться на улучшение своего экономического положения и думать о сытости желудков, о которых так красноречиво распинался Корф". Затем Разумихин Н. В.—член местной организации Р. С. Д. Р. П., служащий ст. Ржев Новоторжской ветки Николаевской ж. д., и член Комитета Вишневский, в сильных агитационных речах призывали бороться до конца с самодержавным правительством, чтобы добиться созыва Учредительного Собрания и получить гражданские свободы, причем Разумихин горячо призывал снять с работ служащих и рабочих ст. Ржев Новоторжской линии, которые совместно с Николаевской дорогой не примкнули все еще к забастовке.

Слесарь депо Николай Лелянов и дорожный мастер Квятковский сообщили собранию, что под влиянием агитации Корфа совершилось предательство—несознательные товарищи явились в полицию и подали заявление о том, что они против забастовки. Прижатый к стенке кондуктор Калошин в жалком рабском лепете повторял слова Корфа и старался оправдаться в обвинениях, сообщенных Квятковским, а после об'явления бойкота совсем перестал появляться на собраниях. Все же в интересах исторической правды и чести движенцев следует сказать, что другая группа движенцев, а именно запасный агент Мачуев, главные кондукторы Иванов Михаил, Побералиев Иван от себя и других заявили собранию, что они солидарны с бастую-

щими товарищами и резко отмежевываются от компании Корфа, пытающейся сорвать забастовку.

Служба же телеграфа, подчиненная также Корфу, верно и политически сознательно несла свою работу по приему и отправке нелегальных депеш, и только Обидин, билетный кассир, передал нелегальные депеши от 6 и 7/XII Стачечного Комитета жандарму Шапетько. Тогда же собрание рассмотрело случай с машинистами Ржевского участка—Бателиным и Микульским, задержавшимися в момент об'явления забастовки в одном из оборотных депо участка, где от них насильно отобрали подписку протеста против забастовки.

Собрание, заслушав об'яснения товарищей, постановило разослать телеграмму протеста Комитетам от Зилана до Подмосковной, гласившую, что товарищи машинисты Бателин и Микульский отказываются от насильно отобранных от них машинистом Подмосковной Адриановым подписей протеста против забастовки. Комитет, желая еще раз после выступления Корфа убедиться в устойчивости протекающей забастовки, ставит снова вопрос на голосование, при чем результаты оказались следующие: 247 голосов за забастовку, 6 против и 3 воздержались.

При этом голосовании присутствовавшие члены Ржевской организации Р. С. Д. Р. П. из рабочих депо, а также из города стремились использовать настроение и попытаться убедить в необходимости снять с работ Новоторжскую ветку; на конспиративном совещании было решено в случае срыва забастовки не допустить открытия движения и выпуска паровозов, для каковой цели свалить в поворотный круг паровоз. Предложение захватить паровоз и выехать на ст. Ржев Новоторжской линии для снятия рабочих и служащих с работ не было принято.

Корф между тем не успокоился и решил действовать на голодные желудки другим способом. Боясь, что рабочие захватят станционную кассу, и расчитывая, что рабочие, не получая жалованья, скорее сдадутся и прекратят забастовку, Корф сделал тайное распоряжение начальнику станции Степанову о сдаче кассы в Госбанк. Однако, эта попытка не удалась; рабочие, узнав о предполагаемой сдаче денег, потребовали, чтобы Комитет принял меры к тому, чтобы деньги остались на станции.

13 декабря приехал бывший член нашего Комитета

Неллярд, переведенный в Москву перед самой декабрьской забастовкой. Он сообщил, что в Москве началось вооруженное восстание, и что часть войск перешла на сторону восставших, и просил рабочих достать патронов для переотправки в Москву. Патроны в небольшом количестве были закуплены в местном магазине Долгополова и переданы Неллярду.

Чтобы обеспечить успех вооруженного восстания в Москве, важно было не допустить прорыва в Москву воинских частей, верных правительству. Имея это в виду, и учитывая ненадежность в этом отношени Зиланского участка, Ржевский Комитет в качестве меры к недопущению отправки через Ржев в Москву карательных отрядов под видом запасных, телеграммой № 231 от 13/XII поданной в 2 ч. 40 м. дня известил:

„От Подмосковной до Зилана Комитетам—при отправке поездов с запасными просим Зилан уведомить подробно по линии Подмосковная Комитетам и убеждаться в действительности отправки запасных. Ржевский Комитет".

Тогда же поднятый собранием вопрос об остром материальном положении бастующих рабочих был разрешен предложением Комитета конфисковать станционную кассу и выдать рабочим и служащим жалованье, что и было проведено в жизнь.

16/XII снова встала угроза срыва забастовки: была получена телеграмма из Зилана, в которой сообщалось о прекращении забастовки от Виндавы до Новосокольников с просьбой открыть движение и Ржевским участком. Рабочие понимали всю серьезность защиты тыла Московского восстания и видели, что с открытием движения на Ржевском участке дается возможность расположенному в городе полку драгун быть в Москве. Срочно был вызван на совещание председатель Комитета Филатов, отсутствовавший последние дни в связи с болезнью сына (который и умер 16/XII).

Помню—время клонилось к вечеру, тревога за судьбу забастовки охватила всех. Наконец, среди снежных сугробов Ямского поля на тропинке в растегнутом пальто показалась фигура спешившего на вызов А. Т. Филатова. Встреченный приветствиями собрания, Филатов предложил прервать на некоторое время собрание, чтобы обсудить вопрос в Комитете. По возобновлении собрания Забастовочный Комитет предложил отправить на провокационный вызов Зилана следующую телеграмму:

„Телеграмма № 306 от 16/XII из Ржева подана в 6 ч. вечера.

От Москвы до Виндавы товарищам.

Собрание служащих и рабочих ст. Ржев 16/XII в количестве 300 человек единогласно с негодованием отвергло призыв группы служащих ст. Зилан и Митавы с Гориным во главе. Мы откликнемся лишь на призыв Стачечного Комитета, не дрогнувшего до сих пор в борьбе за наши права среди стонов умирающих в Москве братьев. Ржевские товарищи“.

По принятии телеграммы выступил Вишневский, который прочел, доставленный в большом количестве в депо членами местной организации Р. С. Д. Р. П., Манифест Российской Социал-Демократической Партии.

В это время собрание сильно было озабочено тем, что Филатову стало невозможно бывать на ст. Ржев и руководить комитетом вследствие угроз со стороны черной сотни, которая в последние дни не раз делала налеты на его квартиру в городе, так что только вмешательство и защита лучшей части населения города, среди которой Филатов пользовался большой известностью, как общественный деятель и врач, спасали его квартиру от разгрома, а его самого, быть может, и от смерти.

С другой стороны та же местная черная сотня прилагала все усилия, чтобы добиться открытия движения. Матерой черносотенец, ржевский городской голова А. А. Чураков обратился к начальнику III участка службы пути Москов.-Винд.-Рыб. жел. дор. с таким письмом:

М. В. Д.
Ржевский
Городской Голова
Декабря 15 1905 г.
№ 216.
г. Ржев, Тверск, губ.

Милостивый Государь!

„Я, как Городской Голова и гласный Ржевской Городской Думы, по поводу забастовки железных дорог вообще, а Московско-Виндавской железной дороги в особенности, телеграфировал: в Тверь Губернатору, в Москву Управляющему Вашей дороги, в Петербург Председателю Правления Москов.-Виндав.-Рыб. ж. д., Графу Алексею Павловичу Игнатьеву и, наконец, вчера Председателю Комитета Министров графу С. Ю. Витте. Копии сказанных телеграмм здесь прилагаются; ответы получены пока только от Губернатора и Председателя Правления О-ва М. В. Рыб. жел. дороги, копии коих здесь же прилагаются.

На основании права, данного мне телеграммой г. Островского, и в силу обязанности, налагаемой на меня

должностью Городского Головы, считаю необходимым обратить Ваше и всех служащих вверенной Вам станции внимание на тот вред, который приносится забастовкой железной дороги не только жителям Ржева, но и всему населению местности, где проходит бастующая дорога, вред которой население никогда не делало, не делает и не думало делать в будущем.

Вызванные же забастовкой дороги затруднения в передвижении пассажиров, груза, а в особенности жизненной провизии, вызывают серьезные волнения населения: нужно к тому же еще добавить, что рабочие прилегающей к станции Ржев Ямской Слободы и окрестных деревень давным давно привыкли перед праздником 25 декабря особенно зарабатывать на перевозке товаров на железную дорогу и обратно и на других работах, связанных с этой перевозкой, не получая этого заработка, особенно возбуждены против служащих бастующей дороги, от которых, по мнению тех рабочих, многое зависит в решении вопроса об открытии действий дороги, в доказательство чего между рабочими в разных вариантах ходит рассказ, как по решению митинга служащих станции Ржев Московско-Виндав. жел. дор. был свезен из Ржева на одну из станций какой-то еврей, пожертвовавший в пользу забастовщиков 25 руб. Лично я этим рассказам не верю, но ведь рабочие мало считаются с вероятностью подобных слухов. На основании сказанного я Вас и всех Ваших сослуживцев покорнейше прошу во имя общего блага принять возможные с Вашей стороны меры к восстановлению движения на дороге. Городской Голова А. Чураков. Секретарь К. Филатов“.

Телеграммы же, о которых говорит Чураков в приведенном письме, были следующие:

„Тверь, Его Превосходительству Тверскому Губернатору.

Начиная сегодня вступает в город 2500 новобранцев, долженствующих далее отправиться Виндавской дорогой, которая забастовала, отказываясь перевезти сказанных новобранцев, можно ожидать серьезных безпорядков. Нет ли возможности удержать дальнейшее прибытие с мест Твери, Торжка, Сторицы и Осташкова. Городской Голова А. Чураков“.

„Москва Управление Московско-Виндавской железной дороги.

Сегодня начинает прибывать партия новобранцев 2500 человек, долженствующих отправиться далее Виндавской железной дорогой, здешняя администрация которой отказывается вести тех новобранцев, излишнее пребывание которых в городе может вызвать серьезные безпорядки. Почтительно прошу принять возможные Вам меры. Ржевский Городской Голова Чураков“.

„Петербург Его Сиятельству Графу Алексею Павловичу Игнатьеву.

Виндавская бастует. Городское уездное население сильно возбуждено против бастующих, что считаю долгом сообщить Вашему Сиятельству. Чураков".

„Петербург Председателю Комитета Министров Его Сиятельству Графу Сергею Юльевичу Витте.

Гласные Ржевской Городской Думы почтительнейше просят Ваше сиятельство принять возможные меры открыть движение железных дорог, бастовка *) которых гибельно отражается на торговле, лишая же рабочее население заработка перед праздником, вызывает серьезнейшее возбуждение против бастующих. Городской Голова Чураков".

От Председателя Правления дороги Чураков получил следующий ответ на свою телеграмму:

„Городскому Голове Чуракову". Петербург 11 декабря 3 ч. 40 м.

Подлежащее указание станции дано, полезно Ваше обращение к благоразумию старых служащих и указание на возможные серьезные осложнения. Островский".

Корф, как рассказано было выше, получив в связи с телеграммой Чуракова телеграфное распоряжение председателя правления О-ва Московско-Винд.-Рыб. ж. дороги, Островского, хотел сорвать забастовку еще 12/XII.

Но рабочие и служащие никак не хотели быть „благоразумными" и продолжали забастовку.

Собрание обратило внимание также на факт прибытия новобранцев на Виндавку со стороны Новоторжской ветки Николаевской жел. дороги. После речи Фирсанова Д. М., указавшего, что перевозка новобранцев усилит ряды правительственной армии, и тем самым даст ему больше сил бороться против бастующих, чего мы не должны допустить, принято было решение и Степанову было поручено поставить в известность воинского начальника о том, что новобранцы ни в коем случае Виндавкой не будут приняты к перевозке.

К этому времени получились о Московском восстании сведения, что, несмотря, на героическую борьбу восставших в районе Пресни, победа склоняется на сторону правительственных войск.

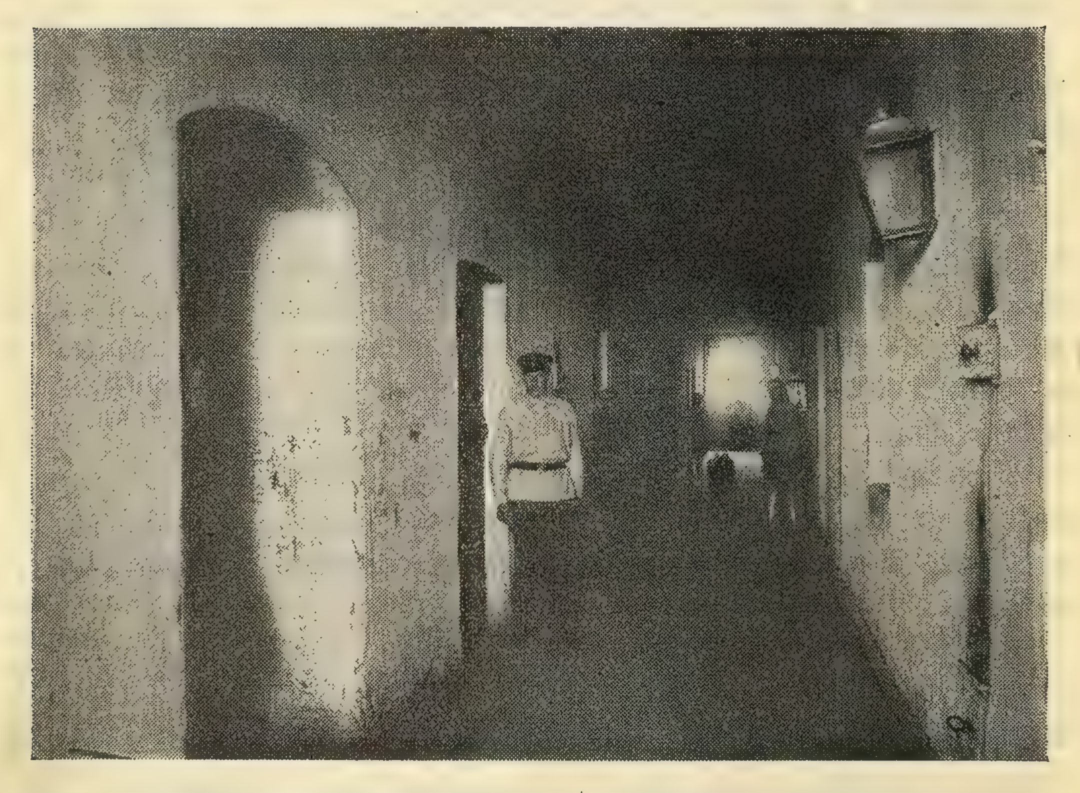
Вследствие перерыва телеграфного сообщения с Москвой проверить эти сведения немедленно не представилось возможным. И собрание решило для ознакомления на месте

---

*) Буквально.



Ржевская тюрьма. Камеры политических.



Коридор политических камер в Ржевской тюрьме.

с ходом восстания и для восстановления связи с Московским. Забастовочным Комитетом выделить делегацию в составе: Неллярда, запасного агента Якова Могуева, телеграфистов Сергея Беляева, Николая Пугачева, табельщика Каретникова и слесаря Александра Малыгина, которая и выехала в 9 час. вечера в Москву под видом воинского поезда. Не успел состав дойти до семафора, как на станцию прискакал отряд драгун под командой жандармского ротмистра Вяхирева для ареста уезжавших товарищей. Но должен был увидеть, что, несмотря на полученную информацию о том, что должен отойти делегатский поезд, он бессилен теперь помешать товарищам добраться до Москвы.

Делегаты, под‘езжая к Подмосковной, были задержаны воинской частью и состав подвергся обыску, при чем Неллярд, везший с собою патроны, вынужден был их запрятать в потолочный вентиляционный люк вагона, где они так и остались лежать неиспользованными.

Несмотря на задержку в Подмосковной, части делегации через Зенково, Петровско-Разумовское удалось пробраться на Пресню и убедиться в поражении восставших. И с этими печальными сведениями, и не связавшись с Забастовочным Комитетом, делегация возвратилась в Ржев, и поведала нам об об‘ятой красным пожаром Пресне. Между тем с Петербургской сети через Новосокольники катил в Ржев, наводя порядок по линии, карательный отряд стрелков во главе с инженером Фишером.

Последнее состоявшееся в депо собрание, видя бесцельность дальнейшей забастовки, тем не менее решает бросить вызов правительству, и посылает телеграмму за № 245 от 19/VII 1905 г. из Ржева следующего содержания:

„От Москвы до Виндавы товарищам, копия Москва Управляющему сетью, С.-Петербург Министру Путей Сообщения и Внутренних Дел.

Мы, рабочие и служащие ст. Ржев, находя, что настало время прекратить забастовку, согласны восстановить движение и приступить к работам; стремясь к тому, чтобы правильное течение дела не нарушалось и в будущем, мы продолжаем настаивать на требованиях наших, легших в основу настоящей забастовки, требуем сверх того освобождения из тюрем и от суда арестованных товарищей наших, полной амнистии для всех без исключения пострадавших за политические убеждения, удовлетворения экономических требований наших, уплаты полного жалованья за послед-

нюю забастовку и не применение каких-либо служебных карательных мер к нашим товарищам в связи с забастовкой; полагаем, что только при условии неуклонного исполнения упомянутых требований наших возможно ожидать прекращения дальнейших забастовок. Собрание служащих и рабочих".

Эту телеграмму удалось передать по линии, несмотря на присутствие карательного отряда.

Члены Забастовочного Комитета Фирсанов и Вишневский, закрывая собрание с тем, чтобы 20/XII приступить к работам, в заключительных речах обратились с призывом: „Товарищи, от открытой борьбы в кружки подполья" . . .

. . . .

Затем началась расправа: широкое применение закона от 2/XII о забастовке, статей 129 и 125, а за ними для участников годы безработицы, судебные процессы и крепость.

25/VIII-25 г. Киев. **Н. Торопченов.**

Приложение: копии из материалов предварительного следствия.

Лист дела 2-й. „Представляя дознание, произведенное унтер-офицером Шапетько о политической забастовке служащих и мастеровых на ст. Ржев, докладываю, что 13 декабря мною была дана шифрованная телеграмма Начальнику Ржевского Отделения ротмистру Вяхиреву, в которой я просил приказать унтер-офицеру Шапетько арестовать руководителей забастовки. Состоялось совещание из исправника, тов. прокурора и ротмистра Вяхирева, которое решило, что так как забастовщики ведут себя спокойно, то во избежание ухудшения положения арестов не производить. Подполковник Григорьев".

Лист 17. „Е. В. Б. Судебному Следователю Тверского Окр. Суда 2 уч. г. Ржева.

Представляю при сем манифест Р. С. Д. Р. П., который на одном из собраний раздавал Вишневский, при этом доношу, что Вишневский и Судариков от службы уволены, но пока находятся на ст. Ржев. Если необходимо нужен важный свидетель, то может быть им служащий кондуктор ныне урядник при Ржев. Пол. Управл. Василий Михайлов Беляев. 16 января 1906 г. Унтер-офицер Шапетько".

Лист 42. „Г. Судебному Следователю 2 уч. Ржев. уезда.

Имея в виду, что произведенным Вашим Высокоблагородием предварительным следствием по делу о железнодорожной забастовке, имевшей место на ст. Ржев Москов.-Виндав. ж. дороги, с 6 по 19 декабря 1905 г., ныне выяснено, что

забастовка эта преследовала политические цели, указанные 3 п. 125 ст. Угол. Улож., я с разрешения г. Прокурора Суд. Палаты предлагаю пред'явить к лицам, в означенном преступлении изобличенным, обвинение по указанной статье, независимо сего предлагаю, выяснить, какие именно требования были пред'явлены 19 декабря в телеграммах за подписью Фирсанова на имя Министра Путей Сообщения и Внутренних Дел, под условием удовлетворения каковых требований была прекращена забастовка. Прокурор Фрейберг".



На улицах Варшавы в октябре 1905 г.

Первые дни.

Я вспоминаю те дни, когда весть о всеобщей забастовке в России, о том, что в стране остановились поезда и прекратили работу заводы, пронеслась по городу, разлетелась по рабочим районам; когда рабочие, старые и молодые, дети и подростки—все вышли смотреть, что делается, когда стали двигаться сначала маленькие группы их, потом большие толпы по улицам г. Варшавы в октябре 1905 г.

Я тогда работал в центре, на Огродовой ул., в маленькой мастерской. Внезапно открываются двери, и заходят несколько человек—рабочие бросившие свои станки: грязные, засаленные,—и, обращаясь ко мне повелительным тоном, но бодрые и сериозные, говорят: „бросьте работу, об‘явлена всеобщая забастовка“. Я взялся за ремень, который вертел мой станок и сбросил его, стряхнул с себя стружки и пошел с ними.

На улице я увидел необычайное зрелище: шли толпами рабочие, из мастерской в мастерскую, с завода на завод, и снимали людей с работы. Двигаясь в толпе, я, незаметным для себя образом, вышел на Железную улицу, потом на Холодную, и подошел к Крахмальной улице, где был большой пивоваренный завод. Там было уже столько народа, что нельзя было пройти дальше.

Откуда-то неожиданно раздался выстрел, и все повернулись — посмотреть, откуда это. Чувство некоторого смущения, боязни двигаться вперед охватило многих. Кто-то из толпы поднялся на плечах рабочих и, сняв шапку, крикнул: „товарищи, только что постовой городовой на углу Броньей убил товарища, который расклеивал прокламации“, и добавил—„не смущайтесь, идем вперед“. И толпа хлынула. Это была первая уличная жертва кровопийцы генерал-губернатора Скалона.

На другой день в городе все замерло: все лавки, магазины были закрыты, и только было видно, как раз'езжали конные отряды, в разброску, как будто опасаясь нападения, шли отряды пехоты, а по тротуарам двигались, куда-то шли рабочие.

День прошел спокойно, столкновений не было. К вечеру толпа начала собираться в центре города, преимущественно на Маршалковской улице. Появились летучки, которые призывали к демонстрации по городу. Показались красные флаги. Дружно и мощно запели „Варшавянку“ и „Марсельезу“. Происходило что-то необыкновенное, чувства бодрости и веселья охватили всех. Шли старухи, крестясь и не понимая, что произошло. И никто не предчувствовал кровавой расправы, какая произошла в ту же ночь на Театральной площади.

Уже стемнело, а толпа все двигалась по улицам с революционными песнями, и так мы подошли к Варшавской ратуше (на Театральной площади). Толпа все увеличивалась; море флагов красовалось на освещенной площади; множество огней—газовые фонари—горело над многотысячной толпой, стоявшей на площади. Эти фонари явились трибуной для ораторов, которые, взобравшись на них, произносили пламенные речи. И толпа стояла как вкопанная; замирая, слушала новое слово, что впервые произносилось открыто, без страха. А рядом, в огромном здании Ратуши, еще находились сотни товарищей, которые ждали своего освобождения.

Тут же был оглашен бойкот польской, почти хулиганской газеты „Гонец“—нам сообщили, что она напечатала воззвание, призывающее к погрому социалистов и евреев. На другой день редакция газеты „Гонец“ была разгромлена рабочими.

Все чаще и чаще раздавались призывы освободить тюрьму, и толпа начала напирать на ворота Ратуши, требуя освобождения заключенных товарищей. Товарищи ждали: чрез тюремные решетки уже несся к нам стройный, громкий гул революционной песни, вырвавшейся из глубины их взволнованных душ. Все время ходили депутации к полицеймейстеру и вели переговоры о том, чтобы освободить товарищей, но он ссылался на Скалона, а Скалон ссылался на Петербург, говоря, что он не имеет распоряжений от-

туда. Все они не знали, как им быть, революционная волна застала их в расплох. Терпение массы уходило, и под напором толпы ворота затрещали. Вдруг, со стороны Белянской улицы, показалась кавалерия, однако отряд отказался разгонять и стрелять в народ, это ободрило, и толпа стала еще сильнее нажимать на ворота. Но скоро появился новый отряд — жандармы, верные слуги царя; раздался залп—и, выхватив свои шашки, как звери они врезались в толпу и начали свое черное дело.

Толпа дрогнула. Все бросились кто куда, раздавались ужасные крики. На этой площади были садики с железными заборчиками с острыми концами. Толпа ринулась к этим садикам; стали перепрыгивать через заборчики, стали падать друг на дружку, прокалывая себя на остриях, повисая на них и истекая кровью. Давка, крик, неимоверные стоны. В страшной панике, женщины, дети, все, кто были на этом месте, метались в поисках спасения, а палачи все продолжали гнать, бить, прокладывая себе путь... Это, быть-может, было в то время, когда кровавый русский царь подписывал свой манифест...

Какими-то судьбами я очутился на Медовой улице, где шла демонстрация, несшая красные знамена и даже польские национальные флаги с орлом. Она двигалась по направлению к следственной тюрьме, „Павяк“, где томились в ожидании расправы царских палачей сотни наших товарищей. Демонстрация шла чинно, бодро, восторженно поднимая свои знамена, и неслись в ночную тишь революционные песни, а в то-же время недалеко, за несколько кварталов отсюда, уже умирали в тяжких муках рабочие.

Возле Павяка.

Демонстранты двигались со всех сторон по направлению к Павяку. Все постовые солдаты и городовые как будто исчезли. Кое-где лишь можно было увидеть прижатого в уголок или у под'езда стоящего городового, или солдата, еще не решавшегося выйти и присоединиться к нам. Еще крепко они держали винтовки в защиту своего кровавого царя. Нашлись смельчаки, которые начали агитировать их, тут смешались и польский, и русский, и еврейский языки, а солдаты не зная, что отвечать и на что решиться, только качали головами и улыбались...

Шум и гул многотысячной толпы заполнял улицу, а с балконов и открытых окон нас приветствовали возгласами, кто по-еврейски, кто по-польски, женщины, дети. Все выявляло общую радость.

Когда подошли к Павяку, там уже стояло много народу. Улица была загорожена с одной стороны толпой, а с другой войсками, таким порядком: впереди стояла кавалерия, за ней пехота, а дальше пушка. Со стороны демонстрантов были только одни мозолистые руки и красные знамена—символ, предсказывавший борьбу.

Можно было видеть, как подымался оратор, сообщая о результатах переговоров, которые велись с администрацией тюрьмы об освобождении товарищей, а также с генерал-губернатором, (уже успевшим напиться крови). Народ все ближе придвигался к солдатам.

Часто подымались ораторы, и обращаясь к солдатам, произносили горячие речи, заканчивая возгласом—„да здравствует революция, долой самодержавие"; в ответ им раздавалось долго несмолкавшее громовое ура. Тюрьма гудела и требовала освобождения, а войско все прибывало, все больше теснило толпу.

Неожиданно раздался громовой голос поднявшегося на плечах толпы товарища, он кричал „Товарищи, слушайте". Долго повторял он свое обращение, которым хотел привлечь внимание и взоры всех. Он начал дрожащим голосом: „товарищи, только что произошла кровавая стычка на Театральной площади, возле Ратуши". Оратор точно загипнотизировал всех своим голосом. Его глаза, его лицо говорили о чем-то необычайном. Все взоры были обращены на него, все замерли. Слышно было только фырканье лошадей стоявшей напротив кавалерии. Оратор говорил: „там уже есть много жертв, там уже льется рабочая кровь; будьте осторожны, не верьте этим палачам". Он закончил свою короткую, но скорбную речь возгласом—„смерть палачам". Вся толпа обнажила головы и запела: „Вы жертвою пали", и жутко-жутко звучала эта песнь, и доносясь даже туда, где люди тихо и мирно отдыхали, напоминала всем о грядущем.

Долго стояли мы перед тюрьмой, все ожидая освобождения узников. Делегация возвратилась, наконец, от генерал-губернатора Скалона и принесла его ответ, что завтра освободит...

Было уже поздно, стали расходиться. Идя домой по тихим спящим улицам, и тяжело вздыхая о настоящем, но преисполненный веры в будущее, я незаметно вышел на Электоральную улицу.

По парадной улице, мимо богатых домов, где отдыхала буржуазия—быть может ей уже снилась победа,—по ярко освещенной и гладкой мостовой неслась рысью пожарная телега, полная трупов, оставляя за собой следы застывающей крови. Телега удалялась,—только слышен был тяжелый стук лошадиных копыт.

Утром я подошел к клинике, куда накануне ночью направилась телега с трупами убитых, посмотреть, что там происходит; я увидел ужасную картину: стояли старые матери, биясь головой о стенки, крича, плача о погибших сыновьях; стоял юноша, проклиная тех, кто убил отца...

На Маршалковской улице.

Теперь уже не толпы ходили, а шли стройные ряды рабочих манифестаций. Над тысячами голов реяли многочисленные красные знамена с разными лозунгами, а с балконов богатых домов, где жила буржуазия и польская шляхта, шикарно разодетые и сыто довольные собой люди приветствовали манифестантов, и лживо улыбались, и махали белыми платочками. Балконы были разукрашены дорогими коврами, некоторые — даже красной материей. Смотря на демонстрацию, показывая ей свою революционность и свое одобрение рабочим, эти люди, вероятно, думали: „вот кто нам принесет свободу, которая нам так нужна, чтобы сбросить самодержавие и самим сесть на его место“.

Был прекрасный день, солнышко высоко подымалось над головами и ярко освещало красные знамена. Шли без конца, все направляясь к указанному месту, у филармонии, где должен был быть устроен митинг. Когда мы дошли до огромного здания, там было уже много народа.

На широкой гранитной полированной лестнице, которая вела в парадную дверь филармонии, была устроена трибуна. Откуда-то достали лестницу, на ней стояла Роза Люксембург и произносила пламенную речь. Я помню, как она говорила, что внутри здания уже собирается буржуазия и строит свои планы и что Немоевский, этот народовый демократ, в своей речи уже угрожал евреям „парашей“, т. е.,

погромом, если они не будут голосовать за него. Раздались крики „долой погромщиков“. Затем она сообщила, что начали выпускать из Варшавских тюрем и что некоторые товарищи уже освобождены. Она звала рабочих к бдительности, приведя в пример кровавую расправу на Театральной Площади.

Выступали и другие ораторы. На лестнице появился молодой рабочий и начал говорить по-русски, он оказался анархистом; как потом узнали, он случайно попал в Варшаву из-за остановки в движении поездов. Это был белостокский рабочий, звали его „Геленькер“, он был убит потом во время погрома в Белостоке. Когда он в своей речи стал приводить факты из Парижской Коммуны и начал говорить о необходимости захвата складов оружия и продуктов, лестница, на которой он стоял, начала качаться: хотели его сбросить, не дать ему говорить. „Я рабочий, дайте мне говорить“,—громко кричал он и бил себя в грудь. Поднялся шум, кто кричал „дайте говорить“, кто кричал „долой“. Поднялась Роза Люксембург—только она могла успокоить толпу—и просила дать высказаться анархисту. Он снова начал говорить, но скоро стали его рвать за ноги и стащили его вниз. Он не успокоился и, ухватившись за фонарь, который стоял сбоку на парадной лестнице, повис на нем, и снова начал речь, отбиваясь ногами от тех, которые тащили его вниз.

В это время мимо нас прошел отряд улан. Роза снова крикнула: „да здравствует революция, да здравствуют солдаты!“—а толпа ответила громким ура, которое, долго не смолкая, провожало их. После анархиста выступила еще раз, с ответом ему, Роза Люксембург. Она сказала, что надеяться на буржуазию не нужно, но отрицала способы борьбы, которые предлагал анархист, и закончила так свое слово: „организуйтесь, нам предстоит тяжелый путь в борьбе с царским гнетом, который не остановится ни перед чем для подавления революции“.

Через несколько дней.

Я не помню числа, когда я, утром выйдя на улицу, увидел расклеенные плакаты,—приказ генерал-губернатора Скалона о воспрещении на улицах всяких сборищ и ше-

ствий под угрозою их расстрела. Один рабочий, отходя от плаката, сказал с тяжелым вздохом: „вот вам царская свобода“.

Скалон—этот палач—выполнил свою угрозу; днем уже раздавались выстрелы и были жертвы. По городу раз'езжали казаки, жандармерия, конная полиция и арестовывали „подозрительных“. И снова казацкая нагайка засвистала над спиной рабочего. Городовики, что прятались было по углам, снова выползли как гады, оскалившие зубы, готовые схватить свои жертвы. Город снова принял мрачный вид.

Я прошел мимо Театральной Площади. На месте, где пали первые жертвы, расположились солдаты, площадь была похожа на военный лагерь. Возле генерал-губернаторского дома раз'езжали черкесы и никого не пропускали.

Исчезли с балконов коврики, красная материя. Возле Государственного Банка прошла демонстрация. Солдаты, бывшие внутри банка, дали залп, и была там масса убитых и раненых... С каждым днем усиливалась реакция. Но митинги и собрания по заводам и фабрикам еще продолжались. Однако забастовка шла видимо на убыль.

Похороны.

Рабочие хотели отдать свой последний долг убитым товарищам своим—проводить их тела на кладбище. Но согласно знаменитого приказа нельзя было демонстрировать. Была поэтому послана депутация к Скалону, чтобы он разрешил похороны, сразу он не дал разрешения, но затем согласился.

Собрались возле анатомического театра, где лежали убитые. Когда начался вынос тел, крик и плач носились в воздухе. Выстроились и пошли по направлению к кладбищу. Над головами рабочих вместо красных нависли черные флаги... Печальную процессию провожала полиция.

За прекращение забастовки.

По улицам появились прокламации, призывавшие приступить к работе; в них говорилось, что на работе мы наберем свежих сил и тогда снова об'явим забастовку. Прокламация была выпущена С.-Д. Рабочая масса далеко не вся сочувствовала такому призыву. Были случаи, когда рабочие рвали прокламацию, выражая тем свой протест против прекращения забастовки. Но с каждым днем все

сильнее и сильнее чувствовалось, что, по крайней мере, временно все проиграно. Начались большие аресты, тюрьмы снова наполнились.

Загудели гудки. завертелись снова станки,—и рабочий класс снова начал гнуть свою спину, создавать богатство капиталисту, а себе—мозоли на руках.

Вспоминая теперь, когда пройден весь крестный длительный путь борьбы со старым строем, пройдены тюрьмы и каторга, где царские палачи всеми мерами старались покончить с теми своими врагами революционерами, которых они не сумели убить на демонстрациях и баррикадах,— вспоминая теперь первые попытки рабочего класса сбросить гнет самодержавия; жертвы, которые легли тогда у ворот Ратуши, молодых юношей и детей, стариков и старух, которые повисли на заборчиках под ударами нагайки и шашки, истекая кровью, моля о пощаде; кровь, которую пролили в ту ночь, которая всасывалась в деревянную мостовую и которую потом старательно пытались смывать,— я думаю о том завете, который оставили нам умеревшие тогда; своей несмывавшейся кровью они написали нам: борись не голыми руками, не жди милости от твоего врага, вооружайся с головы до ног и тогда иди в бой, и ты победишь. Прошло 20 лет—и пролетариат и крестьянство могучей своей, теперь вооруженной, рукою успешно выполнили завет тех, которые когда-то легли мертвыми в городе Варшаве и по всей стране.

Вечная память погибшим в Октябре 1905 года.

Да здравствует Великий Октябрь 1917 года.

Киев 27/VII—25 г. **Островский.**

О революционном движении 1905 г. в Тамбовской губернии.

В начале 1903 года в Борисоглебске, Тамбовской губ., организовалась первая маленькая группа Р. С. Д. Р. П. из учащих, учащихся и служащих и об'единила вокруг себя небольшой по количеству, но значительный по качеству кружок рабочих железнодорожных мастерских. Первым же выступлением ее в обще-городском масштабе можно считать выпуск первомайской прокламации издания Ц. К. Р. С. Д. Р. П. Эта прокламация разбрасывалась по всем улицам города, пригородной Станичной слободе и распространялась широко в железнодорожных мастерских. Рано утром, на следующий день, с целыми стопами прокламаций, подобранных по улицам, городовые носились по городу и пригороду. На этой почве не мало было курьезных сцен. Для примера одну из них раскажу так, как она сохранилась в моей памяти.

Городовой поднимает с земли прокламацию и прикладывает к ранее подобранным и висящим на его руке. Это замечает токарь по расточке паровозных кулис А. Иванов, слывший за простачка, а в действительности довольно умный и очень хитрый мужик. Зная отлично, что городовой собирает, Иванов просит дать ему листок почитать. Городовой грубо отвечает:

— Нельзя!

Иванов серьезно смотрит на городового и спрашивает:

— Это что, с Афона что ли листки-то? ты хоть скажи! Наверное что-нибудь интересное святые отцы-то пишут!

Городовой, ничего не об'ясняя, гонит его, но Иванов продолжает настаивать, чтобы он дал ему листок, и предлагает за него две копейки. Этот торг привлекает внимание и еще нескольких рабочих, и городовой в конце-концов выпаливает:

— Сказал нельзя, значит нельзя! Эти листки не с Афона, а стюденты супротив царя пишут!

В мастерских собирались по 3—5 человек и делились впечатлениями о выпущенной прокламации. Кто не читал прокламации до прихода в мастерские, тот находил ее в

мастерских или же узнавал о ее содержании со слов других. Впечатление, произведенное прокламацией, было сильное, и она оживленно обсуждалась на паровозах, под паровозами, в вагонах, под вагонами, у токарных станков и у горн.

Вслед за этой прокламацией было выпущено еще несколько прокламаций, отпечатанных на гектографе, местного издания и значения по текущим вопросам. В начале июня была об'явлена забастовка, состоялся первый митинг в мастерских под руководством социал-демократа Буханцева, пользовавшегося авторитетом среди рабочих. На этом митинге была избрана делегация от всех цехов для ведения переговоров и пред'явления требований, из которых особенно выделялись: удаление мастера сборно-паровозного цеха Мещерякова, мастера токарного цеха Белова и, главным образом, восьмичасовой рабочий день.

На часть требований экономического характера администрация пошла на уступки скоро, а вышеупомянутые требования взволновали не только управление дороги, но и министерство путей сообщения, которое откомандировало для улаживания конфликта целую комиссию во главе с инженером Горчаковым.

Забастовка продолжалась две недели и была прекращена условно, на две недели. За это время администрация обещала дать исчерпывающий ответ. Ответа получено не было, и забастовка была об'явлена вновь и ликвидирована лишь только после временного закрытия мастерских с увольнением всех рабочих, арестом 24 человек и высылки части рабочих за пределы губернии.

Новый набор рабочих, произведенный администрацией при активном участии охранки, не ликвидировал революционного настроения среди сознательной части рабочих, а только лишь заставил их углубиться в подполье и временно перейти от массовой к кружковой работе.

В то-же время зашевелилось и село. По линии железной дороги можно было уже встретить кружки в 5—6 человек крестьян, организованных каким-нибудь железнодорожным рабочим или служащим для совместного чтения и бесед по злободневным и политическим вопросам. Такие же кружки можно было найти и в дали от железных дорог, организованные сельским учителем. Все эти кружки были

без определенной партийной окраски и не имели связи не только с городом, но и между собою.

Вспыхнувший патриотический огонек при об'явлении Русско-Японской войны среди несознательных рабочих и крестьянских масс скоро потух. На безпрерывно движущиеся эшелоны войск стали смотреть, как на пушечное мясо, а на войну вообще, как на доходную статью помещиков и фабрикантов. В царя вера была еще крепка, и на него, особенно крестьянство, продолжали смотреть, как на помазанника божьего, плененного помещиками.

Рабочее движение в центре, убийство великого князя Сергея и торжественное шествие 9 января к царю за милостью во главе с Гапоном, вновь пробудили энергию к борьбе в рабочих и крестьянских широких массах глухой провинции, и эти массы внимательнее стали прислушиваться к голосу социалистических партий. Голос же этот сильней и отчетливей звучал из глубокого подполья. Нелегальные типографии и гектографы выпускали много прокламаций для рабочих и крестьян. Росли кружки рабочих, крестьян, учащихся и военных. Группа п. с-ров связывала разрозненные мелкие крестьянские кружки и вводила их в революционную колею вместе с сельским учительством и линейными жел. дорожными служащими и рабочими. В городе группа п. с-ров развернула работу среди рабочих и учащихся. Читались рефераты по програмным и политическим вопросам с участием рабочего актива С.-Д. и С.-Р. В рефератах рабочие активного участия почти не принимали, но после рефератов в мастерских, во время обеденного перерыва, отдельными небольшими кружками завязывался горячий спор по вопросам рефератов. При этом чувствующие себя, по сравнению с товарищами, слабоватыми по некоторым вопросам, брали необходимую литературу и старались пополнить свои знания.

К октябрю революционного 1905 г. в г. Борисоглебске было уже две группы: п. с.-ров и Р. С. Д, Р. П. Расходясь по програмным вопросам на своих рефератах и докладах, эти группы об'единенно выступали в проведении забастовок и демонстраций.

Революционный под'ем описываемого времени учитывали царские опричники, а вместе с тем и прилагали все усилия для того, чтоб свернуть с пути наростающие собы-

тия. Лихорадочно работала черная реакционная свора по организации еврейских погромов, в надежде повести за собою рабочие массы и тем разбить революционные организации.

Тамбовский Губернатор Фон-дер-Лауниц, впоследствии Петербургский градоначальник, вместе с архиереем Иннокентием, ставшим впоследствии экзархом Грузии и затем Московским митрополитом, являлись главными вдохновителями и руководителями черной сотни. В октябре 1905 г. в г. Тамбове этот архиерей с церковного амвона произносил погромные проповеди. В первой половине октября 1905 г. Тамбовские губ. ведомости, для воодушевления черной сотни сообщили о намерении железнодорожных рабочих примкнуть к погромщикам. Железнодорожные рабочие через редакцию газеты: „Тамбовский Голос“ ответили, что это гнусная клевета, что они протестуют против этой клеветы и поддержат свой протест тем, что в случае погрома встанут все, как один, на защиту ни в чем неповинных евреев. Такой решительный отпор произвел замешательство в рядах черной сотни, и погром не состоялся.

Столыпин, будучи Саратовским губернатором, организовал в начале 1905 г. еврейский погром в г. Балашове. Погром этот прошел только лишь при поддержке его личной охраны, состоявшей из казаков и стражников, рабочие в погроме не принимали участия, а крестьяне села Ивановки пошли в город не громить, а бить погромщиков.

Все это достаточно указывает на рост и развитие самосознания среди рабочих и крестьян. Вера в царя была еще крепка, но сознание в необходимости борьбы быстро росло, а развертывающиеся кровавые события на Дальнем Востоке толкали к выступлению. В первой половине октября 1905 г. над г. Тамбовом вновь повисла погромная туча, главным вдохновителем которой был архиерей, а вооруженной рукой—губернатор. Погром должен был начаться с редакции газеты: „Тамбовский Голос“, в которой евреев было не больше, чем в русской церкви. Для защиты редакции, как единственного органа с социалистическим направлением на всю губернию, организовалась дружина самообороны. Средства для вооружения этой дружины револьверами собирались главным образом среди либеральничавших буржуазных евреев. Кроме того, мною с тов. Катиным, расстрелянным

в декабре 1905 г. за убийство вице-губернатора Богдановича, делались кистени:—в короткой деревянной ручке, обвитой проволокой, укреплялся тонкий стальной трос, и на конце его отливалась свинцовая гиря около фунта весом,—и мы же делали оболочки для бомб, предназначавшихся также для дружины самообороны. Дружина формировалась из рабочей и учащейся молодежи и разделялась на десятки и сотни. Каждый десяток имел определенное назначение на случай погрома, а до погрома несли караульную службу в разных пунктах города. При дружине была организована и контр-разведка.

Штаб дружины находился в редакции „Тамбовского Голоса". Отсюда разведчики разсыпались по всему городу, и сюда же приносили все сведения.

Но вот об'явлена железнодорожная забастовка, и первая грандиозная демонстрация, в которой приняли участие не только рабочие и учащиеся всего города, но и солдаты, хотя и в незначительном количестве, была и первым серьезным испытанием дружины самообороны. Погромная агитация монархистов неустанно продолжала вестись с церковных амвонов, на базарных площадях, в харчевках, трактирах и на улицах. Настроение стало возбужденным, в окнах домов и магазинов выставлялись царские портреты и иконы. На митингах кадетствующие интеллигенты и частью меньшевики высказывались против подготовлявшейся демонстрации и указывали на возможность повторения Гапоновской бойни в Тамбове. Эти речи в начале сильно тормазили, но все же, как только было решено большинством пройти по городу с демонстрацией, рабочие все встали в ряды демонстрантов. Дружина была вся на готове и держала цепь по всей линии демонстрации. Демонстрация спокойно прошла по главным улицам, выступало много ораторов, пелись революционные песни, и, дойдя до Варварьинской площади, разошлась. Полицейская власть и черная сотня бездействовали.

Во всей этой работе нельзя не отметить активного участия М. А. Спиридоновой. Она принимала активное участие в организации этой дружины, собирала деньги для покупки оружия и покупала его, организовала мастерскую, в которой готовились оболочки для бомб и пр. В течении дня она успевала побывать во всех концах города, пови-

даться с рабочими и учащимися, провести несколько собраний и те или другия организационные задания. Имя ее становится популярным среди всего населения города, а затем, после убийства Луженовского, и деревни всей Тамбовской губ.

В описываемый период особых столкновений с администрацией и черной сотней не было, и революционная работа в Тамбове с его окрестностями быстро развивалась.

В конце октября я выехал в уезд для организации крестьянских союзов. Там в это время уже горели помещичьи экономии, и свирепствовали карательные экспедиции. Крестьяне внимательно выслушивали речи, забрасывали вопросами и охотно составляли приговора о присоединении к крестьянскому союзу, читали и обсуждали прокламации и брошюры. Собрания иногда проводились открыто—в виде сельских сходов. 8 ноября я был арестован на одном из собраний в Кирсановском уезде и, как арестованный на крестьянском митинге, посажен вместе с крестьянами-аграрниками в Кирсановскую тюрьму.

В камере день и ночь стояла вонючая деревянная параша; было душно, сыро, темно и грязно; не разрешали курить и обращались грубо. Спали на голых нарах без матрацев, подушек и одеял на столько тесно, что поворот одного заставлял передвигаться нескольких соседей. Большинство крестьян имели кровавые рубцы по всему телу от ногаек карательной экспедиции Кишкина. Связь с волей отсутствовала совершенно. Настроение было удрученное.

Первым нашим протестом был—отказ от вставания при появлении в камере начальника тюрьмы. При этом произошло бурное об‘яснение, после чего один из товарищей был посажен в темный карцер. В ответ на карцер мы об‘явили голодовку, и на четвертый день голодовки приехавшим для улаживания конфликта прокурором была увеличена прогулка, разрешено курить, выброшена на день зловонная параша, и установлено вежливое обращение. Скоро удалось связаться с Красным Крестом, который тогда только организовался, и получать информации о революционном движении, материальную поддержку и книги, и тюрьма из кошмарного мертвого дома превратилась в школу борцов революции.

И. Иванов.

Из моих воспоминаний.

Октябрь 1905 года застал меня в Минской губернской тюрьме. Дела у меня серьезного не было; но мне, как бежавшему с поселения, грозило 4 года каторги. Однако об этом как-то совершенно не думалось. Все мысли в это время были заняты развертывавшимися событиями. Верилось, что эти события должны разрешиться бурей. Мы глубоко были убеждены, что 9-е Января в Петербурге, восстание „Потемкина", волна забастовок на юге и возвращение армии с Дальнего Востока,—что все эти факторы не могут пройти бесследно. Вспыхнувшая всеобщая, а главным образом железнодорожная забастовка как бы завершила цикл отдельных выступлений, замкнула круг, из которого был один выход—революция.

За всеми происходившими на воле событиями мы следили с напряженным вниманием, ловили каждое слово, каждую строчку, малейшее сведение о ходе борьбы. Мы понимали, что развернувшаяся борьба не могла долго оставаться в тогдашнем положении, развязка была неизбежна. Мы верили, что трудящиеся победят самодержавный строй. С понятным нетерпением мы ждали этой победы, но вместе с тем мы как-то не думали, что это может произойти сегодня—завтра.

17 октября поэтому застало нас врасплох, было для нас полной неожиданностью.

Было около 3-х часов дня. Мы, все политические заключенные Минской губ. тюрьмы, покой которых нарушался только вечерней поверкой или случайным посещением какого-либо начальства, были поражены, как громом в ясную погоду, звуками революционных песен, оглашавших улицы города. Все мы в первую минуту растерялись от неожиданности. Мы начали метаться по камерам, как звери по клеткам. Все бросились к окнам, ухватились за решетки,

хотелось рвать их зубами, пробить головой стену и скорей вырваться на волю, присоединиться к этому мощному потоку, слиться с ним, сделаться частью его и вместе с ним ринуться в бой, добить раненное чудовище. Голоса толпы все приближались к тюрьме, и, наконец, мы расслышали отдельные возгласы, требующие нашего освобождения, приветствующие нас. Мы хором запели „Смело, товарищи, в ногу“, но в это время раздался выстрел по нашим окнам, и мы инстинктивно отлетели от окон, улица же еще сильнее заволновалась и зашумела. Выстрел к счастью никого не задел. Выстрел был произведен солдатом, стоявшим на часах во дворе тюрьмы, и я склонен думать, что он был сделан под влиянием испуга, в полусознательном состоянии.

Под влиянием, видимо, того же страха корридорный надзиратель открыл все наши камеры, и мы все, как по мановению руки, собрались в одну камеру. Откуда-то сейчас же появилась красная рубашка, заменявшая красное знамя.

Голоса толпы в это время стали удаляться от тюрьмы. Как мы потом узнали, присяжный поверенный Метус совместно с прокурором окружного суда уговорили толпу уйти, дав твердое обещание, что все мы к вечеру будем освобождены, но что сделать этого сейчас нельзя, так как нужно заготовить бумаги.

Мы тем временем открыли собрание, начали обсуждать вопросы, связанные с происходящими событиями. Начальник тюрьмы (бывший полицейский пристав), успокоившись по случаю отхода демонстрантов от тюрьмы, влетел к нам грозой, намереваясь восстановить нарушенный порядок, но как только он начал кричать, я, как председатель собрания, заявил ему, что у нас собрание, происходящее под красным знаменем, и потому предлагаю ему снять шапку, чему он сразу подчинился. Затем я ему заявил, что мы постановили больше по камерам не расходиться, и требуем, чтобы к нам был допущен представитель от демонстрантов для ознакомления нас с происходящими в городе событиями.

Знал ли он о существовании манифеста или нет, но вид у него был довольно растерянный; он начал говорить какую-то безсмыслицу и, пообещав нам переговорить с прокурором окружного суда, удалился.

Победа над начальником тюрьмы нас окрылила. Мы окончательно убедились в том, что на воле развертываются

серьезные события, но мы в то же время прекрасно понимали, что враг слишком еще силен, что сломить его не так легко и просто, что в минуту замешательства он может пойти только на временные уступки. Предполагая, что местная администрация для удовлетворения толпы может освободить из тюрьмы заключенных в административном порядке на 1—3 месяца, мы тут же постановляем, что из тюрьмы мы выходим только все вместе, в одиночку же никто не выходит. В это время в наш корридор явился присяжный поверенный Метус, как представитель от союза присяжных поверенных, и, сделав коротенький доклад о событиях, заявил, что заседающий в данный момент в окружном суде совместно с прокуратурой союз присяжных поверенных постановил освободить нас, но так как некоторые из нас числятся за Виленской Судебной Палатой, то об этом послана телеграмма, а остальные могут выйти хоть сейчас, но мы заявили категорически, что выйдем только все вместе, что мы эту уловку администрации предвидели, и об'явили ему наше постановление. Он начал нас уговаривать, доказывая всю неразумность этого постановления, предлагая обсудить его вновь совместно. В этих разговорах прошло около часа, закончить их нам не удалось: они были прерваны раздавшимися четырьмя ружейными залпами. Они раздались один за другим без перерыва, почти слились в один. Вскоре выяснилось, что это Курлов стрелял в мирную демонстрацию. Это было так неожиданно, так не соответствовало переживаниям того момента, что все мы, и Метус, и присутствовавший помощник начальника тюрьмы в полном смысле слова остолбенели и в продолжении нескольких минут стояли в полном безмолвии. Этот режущий звук залпов был ошеломляющим. Когда несколько опомнились и успокоились, мы поняли, что дальнейшие разговоры излишни и неуместны.

Метус вместе с помощником начальника тюрьмы безмолвно удалились, а мы, оставшиеся, запели „Вы жертвою пали в борьбе роковой“...

Все разговоры о возможности освобождения были забыты, мы говорили об убитых и раненых и чутко прислушивались к городскому шуму. Нам грезились баррикады, ночные бои на улицах города, и всю ночь мы, как лунатики, бродили из камеры в камеру, прислушиваясь ко всякому шо-

роху, предполагая в нем начало действий революционных отрядов. Так мы провели ночь в тюрьме на заре русской революции. Некоторые подробности этой ужасной бойни мы узнали вечером, когда пришла смена надзирателей. От них мы узнали, что расстрел демонстрантов происходил на вокзальной площади в тот момент, когда демонстрация уже начала расходиться; что насчитывают до 200 человек убитыми и до 300 человек ранеными.

Когда волнение наше несколько улеглось, некоторые смалодушествовали и начали говорить, что наше постановление было ошибкой. что в такой момент каждая единица на учете, мы теперь пригодились бы там и т. д., словом, все те слова, которые говорят в таких случаях, когда хотят прикрыть свое малодушие. В тот момент, когда мы меньше всего думали о скором освобождении, открылась дверь нашего корпуса, и к нам влетел в сопровождении помощника начальника тюрьмы какой-то маленький юркий человек в штатском платье с котелком на голове и с какой-то бумагой в руках и произнес совершенно необычайные для нас в этой обстановке слова: „Товарищи, собирайтесь все в коридор“.

Я, как лицо, которому были поручены все переговоры с администрацией, пожелал узнать, кто он. Оказалось, что это прокурор Минского окружного суда, а бумага в его руках—телеграмма—манифест об амнистии, которую он нам тут же прочел.

Но манифест содержал целый ряд исключений, и применять его должно было то учреждение, за которым числился каждый заключенный. Поэтому, как и вчера, возник вопрос о тех, которые числятся за Виленской Судебной Палатой и которые согласно манифеста могут быть освобождены только по ее приказу.

И те сомнения, которые были за полчаса до этого, вдруг исчезли, и публика опять в один голос закричала: „освобождайте всех, или никто не пойдет“. В тот же день мы все были на свободе.

М. Глуз.

Мои воспоминания из эпохи революции 1905 г.

(Арест, тюрьма и ссылка).

В половине октября 1905 года всеобщая забастовка отделила столицу от всей страны. Царила непривычная и жуткая тишина, когда 17 октября раздался призыв к успокоению, об'явление свобод и дарование Государственной Думе законодательных прав. Но почта и телеграф не работали, манифест был получен в провинции только 18; ни местные власти, ни народ не были подготовлены к его восприятию; царила какая-то неопределенность и несогласованность действий.

Правда, в некоторых кругах манифест вызывал недоверие; раздавались требования амнистии и учредительного собрания, но все таки была радость, было приподнятое настроение: тезисы манифеста в общем были популярны, и широкие круги верили в их исполнение, без опасений выражали свою радость и обсуждали будущие перспективы. В Одессе 18-го в университете и на улицах, были манифестации с красным флагом, и митинги на окраинах города. Мало кто тогда понимал, что это ловушка, что все, активно воспринявшие манифест по всей России, в самом скором времени, в количестве свыше 70.000 человек, побывают в тюрьме и ссылке, что в тюрьмах России, расчитанных на 110.000 чел., окажется свыше 200.000 человек—это Витте „давал слабительное России“ перед вступлением в новый строй жизни; но это последовало с особенной силой в декабре 1905 года и в январе 1906 г. А до того времени многим городам, где освободительное движение проявилось более ярко, пришлось пережить страшные октябрьские погромы, организованные самим правительством во главе с Треповым, о чем имеются теперь уже документальные данные. Мне пришлось пережить погром в Одессе, активно участвовать в помощи пострадавшим от погрома и студентам, боровшимся за свободу против насилия.

В Одессе были особенно удобные условия для погрома большой процент евреев в городе и босяков в порту. Погром начался уже 19 октября после обычных слухов об осквернении евреями национальных святынь и похищении детей. С утра начались патриотические манифестации: градоначальник Нейдгардт с портретом государя проехал по городу, стоя в коляске. Командующий войсками Каульбарс отказал депутатам от города в присылке войск при начале погрома, и 20-го погром принял стихийный характер. С постов были сняты полицейские, и только интеллигенция и студенты боролись с насилием. Я в то время, после смерти моего мужа, 4-й год по выбору заведывала питомником Славянских девиц на углу Херсонской и Конной ул., где воспитывались южные славянки и три-четыре своекоштных, всего 30 девочек, и жила там со своими двумя малолетними детьми и старушкой теткой. Из наших окон все три дня можно было видеть извозчиков, которые свозили раненых и убитых в Херсонскую больницу и Анатомический театр. Нельзя было оставаться бездеятельной при этом ужасном зрелище, а между тем, как лицо стоящее во главе воспитательного учреждения, я не могла безнаказанно отлучаться надолго. Вечером знакомый доктор прислал ко мне за простынями для перевязок, я немедленно понесла их сама, так как горничная, служившая в пансионе, оказалась сама погромщицей и чуть не побила одного студента, который приходил ко мне за помощью для раненых товарищей. В больнице я увидала зрелище, которое не забывается никогда: десятки изуродованных трупов, беременная женщина с разрезанным животом, недобитые люди с красными и синими подтеками, еще продолжавшие медленно дышать, и пр. и пр. Улицы были пусты, на всех проходящих смотрели подозрительно, так что мне с большим трудом удалось спрятать у своих друзей нескольких еврейских детей. Погром длился три дня, и только 21-го вечером, когда много еврейских домов и магазинов были разрушены, и убитые и раненые в количестве 550 человек, по тогдашним сведениям, переполняли городские больницы, вышел приказ генерала Безрадецкого о подавлении насилия оружием, и погром прекратился на утро 22-го.

Одесский погром был так ужасен, так явно организован, что вызвал сенаторскую ревизию, после которой стало из-

вестно, что Каульбарс безцеремонно признался, что „все мы в душе этому погрому сочувствуем“, и сожалел, что участие войск в погроме стало рано известным населению. На протяжении 3—4 дней погромы потрясли все концы России, что ясно говорит об их организованности, а всех противодействовавших и негодующих скоро постигла печальная участь. Князь Урусов, тов. министра внтр. дел, в своей речи в I Государственной Думе, 8 июня 1906 г. сказал: „погром прекращается, тогда производятся аресты, и само судебное начальство констатирует, что перед ним не преступники, а кем-то обманутые люди“. Так обманутая манифестом 17-го октября, попала и я в тюрьму и ссылку.

Арестована я была в ночь на 30 декабря 1905 г. Арестовать меня пришел пристав Херсонского участка и 4 городовых, которые обыскивали сараи и кладовые пансиона, надеясь найти там бомбы, динамит или укрывающихся людей; пристав же с чиновником остались обыскивать мой кабинет, но не нашли нигде ничего, так что должны были констатировать безрезультатность обыска.

Я не состояла членом ни одной нелегальной организации, только после манифеста 17-го октября записалась в партию „свободных социалистов“, которую организовывал в Одессе известный журналист Изгоев, поэтому появление городовых в моем кабинете, да еще ночью, явилось для меня полной неожиданностью, хотя я безсознательно чувствовала последнее время какое-то тяжелое и угнетенное состояние.

В этот день, 29-го декабря, была елка в пансионе; было много членов вновь организованного родительского кружка при городской женской гимназии, где учились мои воспитанницы и где я была секретарем; был и председатель кружка, юрист Кордунян. Вечер прошел оживленно и весело, но меня все время томила какая-то тоска. К часу ночи в пансионе все было тихо; я села отдохнуть в своем кабинете; под руку мне попалась открытка, изображавшая узника, который стал на табуретку, чтобы посмотреть в окошечко. Я написала на ней письмо моей подруге Н. А. Секазиной, которая в настоящее время заведует детским садом „Ясное Солнышко“ в Москве, поделилась с нею своими впечатлениями о манифесте 17-го октября, не думая, что эта открытка попадет в руки жандармов, а я через час обращусь в узницу.

Но прежде чем попасть в тюремный замок, я должна была пережить оскорбительный обыск, который является, по-моему, наиболее действующей на человеческую психику формой нарушения принципа неприкосновенности личности. После обыска ни арест, ни тюрьма, ни ссылка не кажутся уже столь оскорбительными. Тюрьма и ссылка кончаются и мало-по-малу забываются, но неожиданный обыск ночью, перлюстрация интимной переписки, отобрание книг и писем дорогих покойников, где часто нет ничего нелегального, как это было у меня,—все это долго не забывается; особенно не забывается чувство обиды и оскорбления, когда не знаешь за собой никакой вины. Часто потом мне снился обыск в тяжелые минуты жизни и во время болезни, хотя у меня обыск был неособенно длительный и тщательный: дальше моего кабинета, во внутренние комнаты, пристав не пошел (хотя я слышала, что роются в детских кроватках и даже разрезают мягкую мебель); не пошел, вероятно, потому, что увидел у меня портрет тогда уже покойного Л. А. Смоленского, очень популярного в Одессе „батька“ Одесской громады, большого знатока истории и человека большого сердца. Он должен был быть профессором истории, но бездарный проф. Перетяткович не дал ему дороги, и он был смотрителем ночлежных приютов; своих босяков называл студентами и душевно относился к ним. Кроме того, он преподавал историю в частной женск. гимназии С. И. Виданской и в юнкерском училище. Юнкера его очень любили, и он имел на них хорошее влияние, так что в Одессе сложилось мнение, что полки поют украинские песни благодаря Смоленскому. Пристав оказался его учеником, а Л. А. был лучшим другом моего мужа и крестным батькой моей дочки. Вероятно, воспоминание о гуманном учителе смягчило под мундиром сердце пристава, так как он почти немедленно прекратил обыск, взял, чтобы взять что-нибудь, журналы „Дятел“ № 1, „За свободу“ № 1, и „Молва“ № 18, все вышедшие явочным порядком и продававшиеся в киосках, несколько писем и сказал голосом искреннего сожаления: „А все-таки у меня приказ о вашем аресте в случае даже безрезультатности обыска; пожалуйста, сделайте все нужные распоряжения, а я обожду здесь“. Я пошла во внутренние комнаты сообщить все моей тете, передать ей ключи, поцеловала детей, которые к счастью не проснулись; спал и весь пансион, утомленный после празд-

ника,—и вернулась в свой служебный кабинет, чтобы в сопровождении двух городовых перебраться в тюремный замок. По дороге я просила пристава завести меня в Херсонский участок, чтобы вызвать по телефону члена городской управы, он же член Славянского благотворительного Общества, в ведении которого находился мой пансион, тоже близкого друга моего мужа, П. Т. Климовича, и просила его завтра же навестить моих детей и сдать за меня мои дела по пансиону казначею Общества К. О. Рандичу. Сдача была очень легкая, так как я каждый вечер подводила итог прихода и расхода, и остающаяся сумма денег всегда была на лицо. П. Т. Климович был так ошеломлен моим арестом, что просил пристава подождать его приезда в участок, что и не замедлил сделать. Он одобрил мое внешнее спокойствие, обещал обо всем позаботиться, дал мне денег на всякий случай, и мы тепло простились с ним.

Городовые попросили у меня 3 рубля на извозчика, но я отказалась платить за свой насильственный проезд в тюрьму. Они пробовали меня испугать, что поведут пешком, но видя, что я к этому отношусь равнодушно, пожалели свои ноги и наняли извозчика на казенные деньги, уплатив ему всего лишь 70 коп.

Вот я в дежурной комнате тюрьмы, отняли деньги (остаток которых я при выходе получила сполна), записали и повели наверх, отперли камеру, впустили в полутемноту; звякнул ключ; дверь заперта. Я уже узница. Села на привинченную табуретку, спать не хотелось; брезжило утро; я впала в какое-то гнетущее равнодушие.

Первые дни после моего насильственного, неожиданного заключения в одиночную камеру, я порою переживала такое состояние, когда желаний нет, когда в душе одно холодное безсилье, вся жизнь погружена в какой-то серый цвет, ни дум, ни чувств. И вот я, чтобы разбить это гнетущее состояние, стала внимательно прислушиваться к тюремным звукам:

6 час. утра. Прачки, прачки, Сторужинская, Осинская, Федоренко, Груня глухая, громкая брань надзирательниц.

7 час. Бабы, бабы, готовьте чайники. Кипяток, кипяток... Стук, стук, стук... (открываются дверцы окошечек).

8 час. Лампы, лампы... (наливать керосин). На молоко, на молоко (выставлять кружки).

$8^1/_2$ час. Фельдшер, фельдшер...

9 час. Политические на прогулку.

10 час. Следственные на прогулку.

11 час. На обед, на обед...

12 час. Стук, стук, стук...

1 час. Уголовные на прогулку...

2—3 час. Кипяток, кипяток... стук, стук, стук..

3 час. Политические на прогулку... Давайте политических на прогулку... (Политических водили на прогулку два раза в день).

5 час. Ужин, ужин... стук, стук, стук..

6 час. Тише... тише... Вечерняя проверка.

Все тихо, издали слыщно пение и смех прачек из уголовных, и порой тихая песня политического товарища. Пели при мне только четыре песни: Русская девушка; Солнце всходит и заходит, а в тюрьме моей темно; Жарьте, режьте; Ангелы и черти.

Целый день голоса почти только женские. По ночам же часто я слышала громкие мужские голоса, очевидно, говорила ночная стража, или приводили нового товарища. Арестованных всегда приводили по ночам и всегда городовые или жандармы, так и меня привезли два городовых в 4 час. утра. А ночь в тюрьме какая длинная, сумная, какая то безнадежная.

Мои тюремные товарищи: их было 22.

Ревека Фиалка эс.-р. 17 л.
Поли Гокон с.-д. 19 л.
Маня Зав'ялова эс.-р. 19 л.
Анюта безпарт. 18 л.
Соня с.-д. 18 л.
Дора с.-д. 18 л.
Берта с.-д. 18 л.
Лида с.-д. 16 л.
Таня с.-д. 19 л.
Вера Горовиц 18 л.
Фанни с.-д. 18 л.
Берта с.-д. 19 л.

Шера Шерешевская ан-ка 20 л.
Сарра библиотекарша с.-д. 20 л.
Ступя с.-д. 20 л.
Нина с.-д. 20 л.
Е. Н. Калашникова с.-д. 24 г.
Роза с.-д. 25 л.
Лина Штейнрейх американка-бундовка 27 л.
О. И. Таратута а-ка 30 л.
Е. С. Ельцен с двумя детьми.
Гершкович с семьей.

Как видите, больше половины врагов царизма были полу-дети, девушки моложе 20 лет. Тюремное заключение

переносили бодро. Со всеми я встречалась на прогулках, но милые образы их стушевались в памяти; в тюремной же тетради сохранились только их имена и лета, и лишь о моих соседках по камере: Анюте и Мокрице, также о Ревекке Фиалке, которая первая приветствовала меня утром в тюрьме, и об Ольге Таратуте, которая произвела на меня самое сильное впечатление, сохранились более подробные заметки.

Фиалка.

Утром к моему окошечку просунулось милое личико. Ей не было 18-ти лет.

Она была прелестна, как цветок. Она и называлась Фиалка. За принадлежность к крайней партии она была приговорена судом к 14 годам каторги. Два манифеста сократили их на 5. Девять месяцев она просидела в тюрьме. Умная, спокойная, кроткая, она была душою тюрьмы. Ее горя никто не видал. Прелестное и безстрастное лицо ее, окаймленное каштановыми кудрями, было порой оживлено и весело. А между тем она перенесла и победила страх смерти. Она пошла на спасение своего угнетенного народа и ждала виселицы. Помощник начальника тюрьмы, проходя мимо открытого окна ее камеры (на юге летом оконные рамы совсем вынимались) неоднократно говорил, глядя на нее: „эту жидовку повесят“. Когда она услышала это первый раз, холод ужаса прошел по ее спине, потом второй, третий раз—она уже слушала это внешними чувствами. Две ночи накануне суда она не спала, а писала, изливая всю тоску своей еще детской души; она вспомнила свою покойную мать, она мысленно простилась с отцом, братьями, со своей молодостью, жаждой жизни и счастья—все похоронила эта юная героиня и пришла бесстрастная на суд.

Суд пощадил ее несовершеннолетие. Вдали (через 5 лет) ей улыбалась опять свобода, она еще так молода и счастье впереди. Но не этим жила ее душа: она жаждала счастья для всех, она опять была готова на жертву для спасения угнетенных. Глубокая, тактичная, несмотря на свою молодость, деликатная, чуткая, она понимала горе другого и без лишних слов всегда умела во время подать руку утешения и ободрения. Она была сострадательна

только к настоящему горю, но не любила сантиментальности и нервной слабости. На это она имела право—сама всегда бодрая и энергичная. Невольно просится вопрос: „где черпаешь ты свои силы? Какой источник в твоей глубине“. На это есть один ответ:

„Если счастье в жертве есть,
Он (человек) будет счастлив безконечно!
Награды нет для добрых дел,
Любовь и скорбь одно и то же,
Но этой скорбью кто скорбел,
Тому всех благ она дороже!“.

И вот идет она по Сибирской дороге в далекую каторгу, где ее ожидает еще много горя и оскорблений. И зачем она так прелестна? Жутко делается за ее одинокую красоту. И только подумать, сколько юных, честных, смелых прошло по этой холодной дороге—невольно скажешь:

„Разгоняй туманы, солнышко, выходи скорей,
Много ночью непроглядною здесь прошло людей“,

а как оглянешься кругом на окружающую действительность, то прибавишь:

„Знать без бури солнцу красному
Туч не разогнать“.

Страшные бури промчались, потоки человеческой крови обагрили землю. Утверждается новый социальный строй жизни. Где то она теперь, эта фиалка?

Ревекка Фиалка — социал-революционерка, хранила бомбы в своей квартире. Ее портрет был помещен в Ниве за 1907-8 год рядом с Спиридоновой—группа каторжан в Акатуйском руднике. В бытность мою в тюрьме она пользовалась полной свободой внутри здания, как уже приговорённая к каторге, и помогала всем, чем и как только могла. Два раза в неделю, в приемные дни, она разносила по камерам приношения посетителей. Все получали по тарелке с кусочками хлеба, селедки, колбасы, халвы, лимона, сахару, и пр. и пр. Это коммунистическое начинанье прекратилось с ее от'ездом, и тюрьма как-то опустела без нее.

Мокрица.

Рядом со мной сидела неприятная, низкая, старая женщина, приговоренная к 5 годам одиночного заключения. Не могу без содрагания вспомнить это отвратительное суще-

ство, которое походило на мокрицу, вся какая-то мокрая, скользкая, противная. Имени ее я не знаю, почему-то я не записала его в своей тюремной тетради; она себя называла бабушка Гаврилина. Каждое утро, когда я выходила убирать свою камеру, она просила у меня „беленького хлебца". Я давала, но всегда с отвращением, еще не зная, кто эта моя соседка. Но вот я однажды спросила ее, за что она сидит и почему все просит хлебца. И звуки ее противного шамкающего голоса до сих пор не умерли в моем воспоминании: „болею животом, не могу есть черного тюремного хлеба", сказала она, вся содрагаясь от тех болезненных схваток, которые он ей причинял: „а болею оттого, что вся я отравлена ядом тухлого мяса". И она рассказала мне ужасную повесть своей жизни и причину своей болезни и заключения. В течении долгих лет она торговала на Косарке (окраина Одессы); она варила обеды из падали и кормила ими рабочих по дешевой цене. „И как они, голубчики, меня любили, бабушку Гаврилину, все у меня обедали, а я-то для них как старалась: куплю мясо-то, все синее, натру его солью да перчиком, да с гвоздичкой, да селитрой перетру, да на погреб, на лед-то его и положу на ночь, а на утро оно все красное, свежее,—борщи, рассольники, кислые щи выходили чудесные, и ели мои голубчики всласть, и дешево и сердито, и сама-то я с ними тоже не раз кушала, вот и болею теперь. Много и их, голубчиков, болело, много в больницу ходило, и умирали частенько сердешные". И долгие годы продолжалось это безобразие, пока, наконец, доктора не дознались, что на Косарке не все благополучно, нарядили санитарную комиссию и накрыли погреб этой отравительницы. „А санитары тут, как тут, а мясо-то мое еще не просолилось; арестовали меня, повели в участок, судили меня, вот и сижу теперь и болею". Кроме страха болезненных схваток желудка, ничего нельзя было прочитать на тупом и окаменелом лице этой женщины: ни раскаяния, ни жалости к своим жертвам. Невольно вспоминается безсмертный Н. В. Гоголь, который, нарисовав нам окаменелое лицо Плюшкина и рассказав его прежнюю жизнь, прибавляет: „берегите благородные порывы, страшна, страшна старость, все отнимает она". И эта старуха тоже была замужем, имела детей, все они были уже взрослые, жили самостоятельно, и не для них, не из нужды торговала

она теперь; умер и ее муж, а она все травила и травила людей по привычке, очевидно, сама не сознавая, что делает, не отдавая себе отчета в своем преступлении; мало того, она вложила в него все живое, на что была способна, все творчество своей темной души. Когда она рассказывала о своей работе в погребе „да перчиком. да селитрой перетру“, она даже оживлялась и вдохновлялась, потирала руками, как будто опять готовая расточать эту падаль.

Никто ее не навещал, книг она не читала, (я не знаю, была ли она даже грамотна), гулять не ходила, и целые дни лежала она от еды до еды, переживая только один животный страх боли. И сколько таких несознательных преступных людей выростало и умирало в темном и бесправном нашем государстве. И сколько невинных жертв погибло, пока санитарный надзор нашел это темное убежище человеческой отравы.

Анюта.

Другой моей соседкой была швея из Тулы. Она приехала в Одессу к своим отдаленным родственникам и, при обыске в их квартире, попала в тюрьму за хранение нелегальной литературы и прокламаций, о существовании которых она даже не знала: они были спрятаны в двух ящиках, кем-то поставленных в ее комнату, еще до ее приезда. Это была тихая, симпатичная девушка лет 18-ти. Три месяца ее не вызывали к допросу, и она все сидела и ждала, что будет, не зная, где искать защиты. Она много и прекрасно работала, надзирательницы давали ей работу и мягко обходились с нею. Работала она с редким терпением, и передо мною еще теперь лежит (через 20 лет) старенький платок, весь заштопанный ее искусной рукой; весь он истлел и только штопка украшает его, такая кропотливая, аккуратная, ниточка к ниточке, и говорит мне эта штопка о великом русском терпении...

Анюта была очень бедна, ни ватного пальто, ни теплого платка у нее не было (ее привели в сентябре, так и осталась она при легкой одежде). Я ей давала свою одежду на прогулку, так как мы гуляли в разные часы. И она за это чинила и штопала мне каждую дырочку. Она была кротка и молчалива. Тюремная библиотекарша, эс-дечка Сарра с мягким лицом библейской Мадонны, часто приносила ей

книги и говорила с ней у окошечка. Я слышала, как она говорила о классовой борьбе, рассказывала о Карле Марксе, и я была уверена, что Анюта выйдет из тюрьмы более революционной, чем она туда вошла. В Одесской тюрьме была масса книг и газет, которые вышли явочным порядком и уже преследовались на воле. Там был и огромный „Капитал“ Маркса, и „Эрфуртская программа“, и „Записки революционера“ П. Крапоткина, „Чернышевский в Сибири“, груды старых журналов и мн. др. На мой вопрос, каким образом эти книги попадают и остаются в тюрьме, Сарра мне об'яснила, что их тайком приносят с собой, а потом оставляют в дар тюрьме.

Вообще наша Женская Образцовая тюрьма была рассадником революции: в камерах мы читали запретные книги, на прогулках представительницы разных партий знакомили нас со своими программами. Здесь я впервые услышала о большевиках и о В. И. Ленине. А между тем прокурор тратил время, читая письма моих крошек детей; письма эти сейчас лежат передо мной, все они с желтыми крестообразными полосами и печатями прокурорской проверки.

Анюта, Фиалка, Мокрица скоро отошли на второй план: всех заслонила собой вновь приведенная в тюрьму анархистка-коммунистка

Ольга Таратута.

Это была сильная, энергичная, волевая личность, вся как из стали, вся огневая и в то же время добрая, отзывчивая и даже нежная. Она была арестована за взрыв, произведенный в Одесской кофейне Либмана ею и ее тремя товарищами: Шерой Шерешевской, Осипом Беленьким и Борисом Мец в первых числах Января 1906 г. Это время было ознаменовано целым рядом взрывов. Это был систематический террор кофеен в Белостоке, Варшаве и т. д. Что руководило этими террористами, какая у них была цель, я до сих пор не понимаю. В кофейне могли находиться мирные и невредные граждане, даже дети; в Одесской кофейне Либмана была даже продажа сластей, и могли погибнуть совсем невинные люди. Такая гибель, конечно, бывала и при других террористических актах, но невинные жертвы искупаются приносимой пользой делу освобождения масс и созданию нового, лучшего строя жизни. А тут и пользы я

не видела. Но я думаю, что что-то высокое должно было руководить людьми, которые шли на верную смерть или виселицу. Я не знаю трех других участников взрыва, но около месяца видела Таратуту, почти ежедневно и жадно следила за нею, так как на воле я таких людей не видала. Как независимо она себя держала в тюрьме: начальства не признавала, никого и ничего она не боялась, делала все, что ей было необходимо, и все ей сходило в бытность мою в тюрьме*); она передавала за прогулкой письма в мужское отделение, для чего проделывала дырочки в стене, взбиралась не раз на высокие деревья, чтобы увидеть своих товарищей, чтобы послать им привет и ласку. А с какой материнской нежностью она заботилась о Шере Шершевской, которая равно, как оба товарища, была ранена при взрыве. Шера была нежная молодая девушка лет 20-ти и казалась очень хрупкой, но бодро переносила свою рану и свое заключение. Таратута же ласкала ее, улыбалась ей, как ребенку, доставала, не знаю каким образом, все, что только было нужно Шере: были и цветы, и хорошие конфекты, и всевозможные мази для заживления раны, но рана не заживала и была явной уликой против трех обвиняемых. Судили их 1 сентября 1906 г., и Шершевскую, Беленького и Меца предали казни в ночь на 15-ое. Таратута же, приговоренная к долгосрочной каторге, убежала из тюрьмы, переодевшись в одежду кормилицы своего сына, который и родился в тюрьме. Смелая женщина не останавливалась ни перед чем для дела революции, для борьбы со старым строем. Она оставила в тюрьме своего младенца—сына, написав ему завещание на случай своей смерти, в нем она завещала ему бороться против капитализма и буржуазного строя и всяческого насилия, и защищать угнетенных и обиженных. Об этом письме, равно как и о ее побеге мне писали в ссылку.

Всевозможные события личной и общественной жизни долго не позволяли уходить в прошлое, и только в 1914-м году жизнь напомнила мне опять о Таратуте при следующих обстоятельствах: я преподавала в коммерческом учи-

---

*) 13 августа 1906 г. мне писали, правда, что были репрессии, и что в июле был бунт политических в Одесской тюрьме при ближайшем участии Таратуты.

лище 1-го Общества Преподавателей М. Т. и П., и вот на совете при разборе прошений директор заявил, что есть прошение о принятии мальчика Таратута, но нет никаких документов. Я сразу почувствовала, что это сын О. И. Таратуты, и образ ее, как живой, предстал в моем воображении. Прошло еще 10 лет, полных страшных событий, и вот теперь я опять встретила имя Таратуты в сборнике политических каторжан,*) вышедшем в 24 г., и мне сильно захотелось написать о ней несколько строк, чтобы потомство знало, какие волевые и жертвенные люди боролись за свободу. Но, к сожалению, я могу сказать о ней только то, что я вынесла из короткого пребывания с нею в Одесской тюрьме: о том, как бодро действовала она на окружающих своей, казалось, несокрушимой энергией, какое глубокое уважение она внушала своей цельной личностью. Интересно было бы собрать материалы о жизни и работе этой женщины сильной воли и нежной души. Во мне она убила унылость и холодное бессилие перед запертым ключом темницы, и я никогда не жалела и не жалею, что побывала в тюрьме, где я увидела иной мир, иных людей, где я приобрела и испытала много хорошаго, чего никогда не узнала бы на воле. Не даром говорит пословица: „кто в тюрьме не бывал, тот и жизни не видал".

Возвращаюсь к собственной личности, к собственной судьбе. На другой день после ареста, под Новый год, я написала временному генерал-губернатору Карангозову письмо, в котором протестовала против своего несправедливого ареста, указывала, что я мать двух малолетних детей и просила назначить суд по моему делу, если таковое имеется.

Ответа не пришлось долго ждать. На второй день Нового года, в 4 часа дня, меня уже вызвали к допросу. Приезжал чиновник особых поручений при губернаторе, Григорьев, по распоряжению которого я и была арестована. Это был очень неприятный старик и говорил нечто такое несуразное о моем аресте, что три последующих допроса,— судебный и 2 жандармских, тоже достаточно бессмысленных,—в сравнении с ним, все таки основывались на каких-то, хотя и искаженных, фактах и доносах. А чиновник го-

*) Сборник „Каторга и ссылка", издание Киевского Отделения. О. Таратута „Киевская Лукьяновская каторжная тюрьма".

ворил, что у меня в пансионе было революционное настроение, никогда не было царских молебнов, что я придумала свою молитву. Дело было так: когда я вступила в заведывание пансионом, то я в первый же день была поражена молитвой. Девочки, читая по тетрадке, тупо произносили весь штат одесского кафедрального собора, а затем поминали за упокой всех умерших священнослужителей того же собора: архиерея Димитрия, протоиерея Иосипа, Василия, дьякона Петра и т д., и т. д. Я спросила их: „знают ли они кого-либо из тех, кого поминают?“.—„Нет, так велела прежняя начальница“. Вскоре я заменила эту безсмысленную молитву—осмысленной: „за всех плавающих, путешествующих, в темнице заключенных, всех страдающих и всех христиан“, взятой мной по молитвеннику (было это за три года до моего ареста). Далее он сказал мне, что мои дети благополучны и злорадно прибавил: „и веселы“, что он лично видел их. (Детям моим, 5 и 7 лет, надарили конфект и игрушек и сказали, что я уехала в Симферополь). По этому сообщению о детях я поняла, что это был ответ на мое письмо к Карангозову, и что нужно еще ждать, что будет дальше.

Дело мое наделало не мало шуму. Ища улик, вызывали детей—воспитанниц пансиона в жандармское отделение к допросу, но ничего не могли от них выведать, так как работа моя среди детей была педагогическая, а не политическая: я была только поборницей новой школы, и городовой, который сопровождал меня по выходе из тюрьмы, добродушно заметил: „слыхать, за новое воспитание сидели“.

Главной моей обвинительницей оказалась горничная моего пансиона Мария Улеско, уволенная мною за погромное настроение. Это была несчастная девушка, лет под 30, обманутая родичем старой начальницы пансиона: он был с ней в связи, а потом бросил ее, а когда она стала требовать денежного вознаграждения, то он дал ей какую-то старую квитанцию и сказал, что она по ней получит из Государственного банка крупную сумму денег, которую он положил на ее имя. Она поверила ему и была жестоко осмеяна в банке, отсюда ее ненависть к „благородным людям“, как она говорила. Все это она сама рассказала мне. Попавши по безграмотности в такое положение, она усердно стала обучаться грамоте; я же и учила ее. Со времени этого гнусного с нею поступка она стала какая-то странная

но работала добросовестно. Мне не раз советовали переменить ее, но я ее жалела. Во время погрома она совсем рехнулась; ее темная и слабая голова не могла переварить манифеста, демонстрации с красным флагом 18-го в университете, и последующего затем погрома. Наученная черносотенным дворником, она оказалась моим врагом.

3-го января меня опять вызвали к допросу судебного ведомства, но оно не нашло состава преступления, подлежащаго суду, и вообще прокурор вел себя очень корректно. Через день, 5-го в 11 часов утра, был 3-й допрос, уже жандармский.

Мне ставилось в вину 22 преступления: проступок ученицы 7 класса, недель за пять перед тем принятой в в пансион, Голиковой, которая 21 ноября пела за упокой Николая II, а 24-го налепила бумажки на глаза его портрета, висевшаго в зале пансиона; появление мое с детьми на балконе с черным флагом в 20-х числах октября, в день предполагавшихся похорон студентов и одного приват-доцента, погибших за свободу; замена на вывеске пансиона длиннейшей, но совершенно стершейся от времени, надписи: „под высочайшим покровительством государыни императрицы Марии Феодоровны питомник славянских девиц Одесского Славянского Благотворительного Общества имени Кирилла и Мефодия“ короткой надписью: „Пансион славянских девиц“; устройство в стенах пансиона, во время забастовки средней школы, лекций по истории литературы без разрешения попечителя округа; неблагонадежность своекоштной ученицы Гук, в книге которой горничная Улеско нашла прокламацию: „Чего хотят люди, которые ходят с красным флагом“; сбор по университетскому листку в пользу пострадавших от погрома; укрывательство евреев во время погрома; распространение конституционных идей, выразившееся в посылке одной подруге книги „Конституция“ Лассаля; помощь политическому Красному Кресту. В числе обвинений были и такие, как сбор денег в пользу безработных; сбор в пользу старушки, служившей в гимназии, в раздевальне, и др.

После 3-х допросов мне разрешили свидание с моей сестрой, народной учительницей Е. М. Полянской; от нее я узнала, что члены родительского кружка, дети которых слушали лекции у меня в пансионе, подали лично заявление Карангозову, что лекции были действительно лекции,

а не митинги, что на каждой из них всегда присутствовал кто-нибудь из родителей, помимо меня, но что все эти указания на несправедливость моего ареста раздражают власти, и потому они меня не освобождают, а ищут новых улик. Только что ушла моя сестра, как случилось забавное событие: меня очень скоро опять вызвали на свидание, хотя свидание было разрешено только моей сестре. Прихожу и вижу двух милых учительниц, которые очень хорошо ко мне относились; это были непосредственные и добрые натуры, им удалось без разрешения добиться свидания со мной. Они ласково поговорили с часовым и показали ему взятое по дороге у сестры ее именное разрешение; солдат был малограмотен, прочитал в списке свиданий мою фамилию, забыл ли он, что я уже виделась с сестрой, или доверчиво поддался на их добрые слова—не знаю, но только они просидели со мной больше часу в маленькой комнатке около приемной. Никто нам не мешал. Мы просидели бы и дольше, но час свидания кончался, и я боялась, что их проделка откроется, а потому посоветовала им смешаться с выходящими посетителями. Так они благополучно вышли и даже сохранили на память желтый билет о разрешении Е. М. Полянской видеться с арестанткой Андриевской. Этот билет до сих пор цел у меня. Обыкновенно билеты при выходе из тюрьмы отбирались. Я описываю этот случай, чтобы лишний раз показать, что в образцовой тюрьме, к счастью для заключенных, не все было образцово, и могли быть случаи свидания без всякого разрешения. Меня это свидание очень оживило и порадовало.

В пятницу 8-го у меня была моя помощница по пансиону и рассказала мне о том, что горничная Мария Улеско сошла с ума через три дня после моего ареста и кричит: „спасите ее, какую женщину я загубила“. Ее помешательство так подтверждало мою невиновность, что начальство перевело ее по распоряжению Карангозова из психиатрической Городской больницы на Слободке-Романовке в Красный Крест для проверки, так как Карангозов не доверял врачам Городской больницы, но доверенными врачами Красного Креста было также констатировано помешательство на почве раскаяния, после чего больная была опять перевезена на Слободку-Романовку.

Жизнь в тюрьме шла обычным порядком, только увели

по этапу Фиалку, да вскоре после привода Таратуты был обыск по камерам после вечерней проверки. Жандармский чин с надзирательницей Огурецкой обходили все камеры: она осматривала кровати, нашу одежду, обшаривала даже карманы, а он стоял у столика, и в мою открытую тюремную тетрадь, к моей большой радости, не посмотрел, только потрогал рукой 2—3 книги на столе. Чего искали эти люди —не знаю; в воздухе царила какая-то неприятная жуть, в душе стояла мучительный вопрос, когда же кончится, наконец, это насилие одних людей над другими.

Через три недели после моего ареста, 20-го января, когда я каждый день ждала освобождения, вдруг опять допрос. На этом допросе большую роль играли вздорные показания дворника и горничной.

На мой вопрос, отчего ротмистр наводит обо мне справки у горничной и у дворника, а не у интеллигентных людей, моих сотрудников, он ответил, что спрашивал и у интеллигентных.—И что же?—Все говорят: „прогрессивная женщина“,—и я почувствовала, что это слово в его устах равносильно „революционная“, да оно и правда так было тогда. И тут он разразился бранью по адресу „Одесских Новостей“ и других изданий. В то время десятки редакторов привлекались по 129 ст.; а проф. Новороссийского Университета Лысенков был даже предан военному суду за газетную статью против погрома и обвинялся генер. губ. Карангозовым в призыве к вооруженному восстанию. К счастью, это дело было благополучно ликвидировано, благодарявмешательству центра, и проф. Лысенков выпущен на свободу. После этого последнего допроса я еще 18 дней просидела в тюрьме, и за это время меня больше к допросу не вызывали.

В первых числах февраля старшая надзирательница об'явила мне, что меня высылают в Вологодскую губ. на 3 года и по этапу. Я опять заволновалась на такую несправедливость: я была уверена, что проверка моих обвинений приведет к моему полному оправданию. И вдруг—Вологодская губерния, этап и три года.

Я опять стала писать протесты. Думаю, что они дошли по назначению, так как по этапу меня не отправили, а 6 февраля выпустили под домашний арест, но не в пансион, а на квартиру П. Т. Климовича, который взял меня на поруки, где я и просидела еще 16 дней до выезда в ссылку.

Домашний мой арест не обошелся без приключений. Вот я выхожу из тюрьмы. Опять в дежурной комнате; хотели обшаривать, но я с укором протестовала; не стали, и тюремная тетрадь осталась у меня на груди под бельем. Опять, но уже с одним толстым городовым, я еду по городу и уже днем. Вот я в квартире К., в домашней обстановке, но за дверью сидит городовой. Ночью он устал сидеть и с грохотом упал со стула в мою комнату. Пожаловались губернатору. Приказ ему ночевать на кухне. Повидалась с детьми, близкими, друзьями, но над головой висела угроза ссылки в Вологодскую губ. На помощь явились друзья, доктора: один—ученик моего покойного мужа, ординатор Одесск. Гор. Больницы, докт. мед. Гимельфарб, который лечил меня в течении 8-ми последних лет от не раз появлявшегося нефрита, и другой—Дюбуше, американский консул, он же тайный председатель тюремного Красного Креста. Оба они дали мне такие свидетельства о болезни, что Вологда являлась для меня слишком северной. Проверила комиссия доверенных врачей и констатировала тоже, что холодный климат мне будет вреден. А в это время мои родственники, помещики в Зарайском уезде Рязанск. губ., просили своего соседа по имению, бывшего министра Булыгина, посодействовать высылке меня в г. Зарайск, на родину моих прародителей по матери. Так оно и вышло. Выслали меня в Зарайск вместо Вологды. Никогда не могу простить себе, что я согласилась на эти хлопоты, так как замена Вологды Зарайском оказалась для меня очень тяжелой. Выхлопотав для меня Зарайск, родственники, жившие в 15 верстах от города в имении, написали мне оскорбительное письмо, чтобы я забыла, что они мои родственники и никогда не давала бы о себе знать и не пробовала бы с ними видеться, так как они не разделяют моих убеждений и удивляются, что женщина—вдова, имеющая двух малых детей, занимается политикой. Я надеялась, что они пригласят к себе моих малолетних детей летом из пыльного города. Так я и выехала из Зарайска, ни разу не повидавшись с ними, хотя мой родственник, как председатель земской управы, очень часто бывал в городе. Такую рознь уже тогда вызывал манифест; незаметно выростали два лагеря.

Тяжело мне было жить в Зарайске, все меня боялись, даже торговцы смотрели на меня с опаской, когда я при-

ходила в лавку. Это об'ясняется тем, что в Зарайске никогда не было ссыльных; только писатель Мачтет, тоже рязанский, был там в ссылке задолго до моего приезда; он купил там небольшой дом и жил особняком с своей семьей. Один земский врач Георгиевский не чуждался нас: дочка его приезжала зимой на санях учиться с моей девочкой, старшую его дочь я учила французскому языку, и их доброе к нам отношение сильно скрашивало нашу одинокую жизнь. Иное дело было бы в Вологде. Быть может, климат был бы мне немного вреден, но у меня там были бы друзья, другие ссыльные, и я уверена, что мое там житье было бы много лучше.

Но я забежала вперед. До от'езда я была еще обокрадена своим охранителем—городовым. За три дня до моего оте'зда в Зарайск К-ч принес мне утром 150 руб. на дорогу. Я положила деньги на письменном столе и пошла его проводить до выходной двери через переднюю, где стоял городовой. Возвращаюсь в комнату—денег нет, ищу—нет... Кроме нас двух и городового, в комнате никого не было; спешу в переднюю, городового нет, иду на кухню—говорят, ушел обедать, хоть для обеда было еще рано. Звоню по телефону К-чу, прошу сейчас же дать знать губернатору, что я обокрадена так нагло своим охранителем. Через $1^1/_2$ часа является следователь с письмоводителем, снимают показание, но дело так ясно, что не вызывает никаких сомнений; следователь вежливо обещает сейчас же доложить губернатору о своем дознании. В результате городовой больше ко мне не возвращался после мнимого обеда, и вообще пост городового около меня был снят. Я спала последние 3 ночи одна, а днем свободно ходила по городу к своим друзьям, к которым раньше не смела зайти в сопровождении городового, чтобы не скомпрометировать их. Денег я, конечно, обратно не получила, но зато этой дорогой ценой купила право ехать на вокзал в сопровождении моих друзей и моих сотрудниц по общественной работе, которые тепло проводили меня.

В Одессе я расписалась, что меня высылают на время военного положения. По приезде же в Зарайск я расписалась, что выслана на 3 года. Дорогой я попала в одно купе с сестрой Короленко. Много говорили о тогда еще живом, дорогом писателе. Время прошло незаметно и при-

ятно. Она рассказывала мне об нем, как о человеке, и кажется, что он как человек был так же прекрасен, как и в своих художественных произведениях.

Тоскливо было в Зарайске, в особенности—от сознания безсмысленности всего мною пережитого. Миролюбивая по природе, виновная только в том, что я не была лишена общественных запросов и совести, я должна была пережить столько волнений, оскорблений, быть охраняема городовыми, как какая-то преступница и, наконец, сделаться пугалом в малом уездном городке, где так много пересуд, где знают, кто что ел сегодня за обедом, и т. д.

Лето мы прожили тихо. С осени я опять начала писать прошения с гербовыми марками министру внутренних дел Макарову о том, что я считаю себя ни в чем не виновной и прошу назначить суд, который это подтвердит. Ответ пришел, но не на мое имя, а на имя исправника с запросом дать отзыв о моем поведении. Видя, что тут дело не двигается, я стала весною писать депутату 2-ой Думы от города Одессы О. Я. Пергаменту. Раньше я писала в I-ую Думу Е. Н. Щепкину. Но I Дума, разогнанная 8 июля 1906 г., не успела еще сделать срочных запросов по поводу всех даже более серьезных дел. О. Я. Пергамент не отказался помочь мне и удивлялся, как могли меня арестовать и выслать без всяких улик. Единственной уликой помощи тюремному Красному Кресту был представленный отчет названного Креста, разорванный мною на мелкие части, брошенный в корзину под стол. Тщательно склеенный в 20-ти местах, он был доставлен горничной кому-то для передачи в охранное отделение.

Мои друзья послали О. Я. Пергаменту заключение попечителя Одесского Учебного Округа Мусина-Пушкина, который, прочитав мой обвинительный акт, присланный ему для увольнения меня от службы, сказал: „ни улик, ни доказательств—этак они мне всех хороших служащих разгонят“ (со слов правителя канцелярии К. Л. Добрицкого), и просили разрешения вернуть меня в Киев и снять с меня гласный надзор. Прошение это было подано О. Я. Пергаменту весной, и уже в июле было получено разрешение переехать мне на жительство в Киев под негласный надзор.

Таким образом, срок моей ссылки был сокращен на половину, и вместо 3 лет я прожила в Зарайске только

$1^1/_2$ года. В августе 1907 года я уже была в Киеве, но без права преподавать в школах, а потому я переходила из одной школы в другую.

В 1911 г. зимою я ездила в бывш. Петроград к директору департамента полиции Белецкому с письмом от графини Шуваловой, жены бывш. одесского градоначальника, которая знала меня по совместной работе в одесской женской воскресной школе, где я 3 года была заведывающей. Кстати замечу, что урожденная Воронцова-Дашкова, А. И. Шувалова просто держала себя и аккуратно преподавала девушкам рукоделие.

Герб Шуваловой смутил швейцара охранного отделения, и он хотел снимать с меня калоши, но, вернувшись после доклада, просил отдать муфту, сумочку и, если не обшаривал меня, то осмотрел зорким взглядом с ног до головы. Белецкий был очень тяжелый человек, разговаривать с ним было очень трудно; на прощанье он мне сказал: „о результате узнаете у Киевского губернатора". Губернатор весною разрешил мне преподавать, но надзор не прекращался, и к концу почти каждого учебного года я оставалась за бортом школы, чтобы осенью попасть в другую. В 1913 году, когда в Киев из Казани был переведен попечитель учебного округа А. Н. Деревицкий, мне удалось попасть в Высшее Начальное училище минист. народн. просвещения. Деревицкий знал меня по Одессе, где он участвовал в составлении „Хрестоматии для всех", 2 выпуска которой вышли при ближайшем участии моего покойного мужа, но и это назначение мое было непрочно: за устройство „роковин" Шевченко в Народной Аудитории в 1914 г. я была уволена директором Народн. Училищ Е. Плеским в конце учебного года и перешла в образцовое высшее нач. училище при вечерних курсах А. В. Жекулиной, а затем в частную женскую гимназию В. И. Петровой на Шулявке. И только в 20-м году, при Советской власти, я была утверждена в должности учительницы русского языка и классной наставницы в трудшколе.

К. Андриевская.

Свидание.

(Из действительности).

Был майский теплый день. Оплодотворенная лучами солнца земля, пресытившись весенними водами, сплошь вся покрылась роскошной растительностью. Деревья зазеленели; зацвели сады, и птицы, перелетая с ветки на ветку, весело щебетали, перекликались между собою и отыскивали поудобнее местечки для своих гнезд. Все ожило и потянулось к свету, к теплу. В деревне уже обсеялись, обсадились и только глядели да любовались, как растет не по дням, а по часам огородина, ярь и озимь, которая уже выбрасывала колос. Все были веселы, ибо видели, что этот год они щедро будут награждены за труды. Не весела была лишь вдова Марина. Печаль обуяла ее душу, легла тяжелым камнем на ее сердце.

Да и как ей было не печалиться, не грустить, когда у нея отняли последнего любимейшего сына, на которого она думала опереться на старости лет. Всю жизнь ее преследовали несчастья, одно за другим, но это несчастье как громом поразило ее.

Вспомнила она всю свою жизнь, искала в ней светлых сторон и не могла найти. У нея были родители, но она не помнила их ласк. Десятилетней девочкой она была отдана в наймы к богатею мужику. В наймах она и выросла. Восемнадцати лет родные выдали ее замуж. Муж попался п'яница и плохой сем'янин, и она от него ничего, кроме побоев и грубых, п'яных ласк не видела. Одно у нея утешение было—дети, но и с ними она натерпелась горя, пока их выкормила и воспитала, как могла, хотя и не всех.

Из десятерых пятеро умерло еще в двух-трехлетнем возрасте. Из четырех старших сыновей, достигших совершеннолетия, первый—самый старший, оженившись, отделился, обзавелся своим домом, своим хозяйством. Второго сразила

вражеская пуля на полях Манджурии. Третьего до полусмерти засекла своя русская, казацкая нагайка только за то, что он первый попался на глаза карательному отряду, когда последний в'езжал в деревню. Проболев месяца полтора, он скончался от горячки. Четвертый, ея любимый сын Кузьма, был принят на военную службу. Ему оставалось дослужить пять месяцев, и она со дня на день ожидала его домой. Она ждала, мечтала, как он придет, женится, и будет она доживать свой старый век при нем тихо, мирно, счастливо в своем старом доме...

И вдруг... вместо всего этого арест... суд... и каторга... Вот уже с полгода прошло с тех пор, как она узнала эту роковую для нея новость; а у нее глаза не высыхают от слез, и тяжесть не спадает с ея души; и дни ей кажутся годами.—И за что мне господь посылает такое тяжелое испытание,—думала она, сидя на завалинке перед своей старой покосившейся избушкой.

Вдова Марина потеряла мужа три года тому назад (он умер от водянки). Это для нея хотя и велика была потеря, но она стала уже забывать о ней. Она жила в своем старом доме со своей единственной, самой младшей дочерью, Аннушкой десяти лет.

Пока Кузьма служил, она кое-как перебивалась с хозяйством. Когда же она в прошлом году получила от него письмо, в котором он писал, что осужден на восемь лет в в каторгу и чтобы его домой уже не ждали, то у нее и руки опустились. В этом письме он описал подробно, за что был осужден, и просил у матери прощения за причиненное ей страдание. Когда ей читали это письмо деревенские грамотеи, то она никак не могла понять, за что же осужден ее Кузьма в каторгу, а растолковать ей и они не могли. В нем говорилось о каких-то книжках, „социлистах", как ей читали это слово; об усмирениях, об отказе стрелять в народ, и о многом другом, чего она не понимала. Это письмо из тюрьмы было передано на волю помимо конторы, и в нем было подробно описано все.

Вдова Марина знала, что ея сын Кузьма был охоч до книжек; он, когда был дома, не отрывался в свободное время от них; но она недоумевала, как это могут за книжки осудить на каторгу. Наконец, она взяла это письмо и пошла к учителю, чтобы он ей прочитал и растолковал его.

Учитель, хотя сам и не участвовал ни в каких движениях, но кое-что читал и знал о происходившем в народе движении. Он взял письмо, внимательно прочел его и сказал:—Ваш син гарна людина, ви повинні гордиця ним, а не плакать; він одав себе в жертву за народ, він засудженний в каторгу за те, що пристав до товариства, котре шукае правди, і требує землі і волі.—Так растолковал он ей все письмо, раз'яснил ей, что за люди социалисты и чего они добиваются. И хотя она многого еще не поняла, но слова—„за народ“, „стрелять в народ“ у нея не выходили из головы.

Тут она вспомнила про солдат, вихрем налетевших на их деревню и засекших до полусмерти ея сына ни за что. Вспомнила, сколько они бед натворили: некоторых, самих справедливейших на селе расстреляли или поарестовали и отправили в город, в тюрьму; многих искалечили; над молодыми их женами и дочерьми надругались; разгромили их жалкие лачужки, разграбили и перепортили их добро,—и поняла она, что сын ея Кузьма хорошо сделал. Она в душе уже благодарила его за его мужество, за то, что он отказался от этой гнусной роли защищать добро богатеев и стрелять в народ, добивающийся земли и воли. Вспомнила она свое детство и свою службу у кулака, у которого она прослужила пять лет подряд, работала как каторжная, часто питаясь черствым хлебом и постной пищей,—и ненавистны стали ей все богатеи со своим добром, со своей мошной... Это они у нее отняли всех троих сыновей, которых она вскормила своей грудью... взростила и воспитала.

Сын ея Кузьма содержался в киевской губернской тюрьме. Она, дождавшись весны, собиралась итти к нему на свидание. И теперь подошло время самое подходящее для отправки в этот нелегкий для нее путь. Огородина была посажена, поле засеяно, а до сенокоса еще было недели три; этого времени ей было достаточно, чтобы сходить в Киев. За две недели она справится туда и обратно. За это время она успеет побывать у сына, посетить монастыри, поклониться святым мощам, помолиться и поговеть в Киево-Печерской лавре,—думала она собираясь в этот путь.

Она собиралась не одна, а со старухами-паломницами, совершавшими этот длинный путь ежегодно. До Киева было двести с лишним верст, для них железной дороги не суще-

ствовало. Они совершали этот путь всегда пешком, редко с одной подводой, везущей их котомки, если набиралась достаточно большая компания.

Вдова Марина, приготовив для себя все нужное в дорогу, пошла к соседям и попросила, чтобы они присматривали за ее домом и отпускали бы свою девку Феклу на ночь к ея дочери, которую она оставила хозяйкой в доме. Дочери своей она наказывала, чтобы та не гуляла, а выпалывала бурьян по картошке и по буракам; наказывала, чем и как подкармливать овец, кормить поросенка; строго на строго приказала ей не разводить огня, чтобы не случилось пожара, обед для нея и пищу для поросенка сварит Фекла... Хотя в этих многочисленных наказах для нея не было ничего нового—она все эти работы превосходно выполняла и раньше под руководством матери, но теперь ей становилось страшно. Но когда мать ушла, она уже на третий день поняла все, что ей нужно делать.

Кузьма попал на каторгу с военной службы. Судили восемь человек, в том числе и его, за принадлежность к военной организации, хоть он и не знал, в чем выразилась эта его принадлежность. С одиннадцати лет, окончив школу, он ушел в люди, так как дома ему нечего было делать. Родители его жили бедно и старались, как только подрастет какой сын, сейчас же отдать его в наймы. Не мало пришлось потерпеть, пока он достиг совершеннолетия. Был он два года в работниках у кулака; два года пробыл в экономии; два лета ходил в Херсонскую к немцам—колонистам; год хозяйничал дома после смерти отца; и полтора года перед самым призывом был в Николаеве,—и всюду он находил тяжелый, непосильный труд и низкую заработную плату. В Николаеве Кузьму захватил 1905 год, и ему пришлось побывать на митингах и услышать речи ораторов. Тут он узнал, что за улучшение своего быта нужно бороться. Тут он познакомился с революционным движением; тут ему попадались прокламации, он их прочитывал и хранил, и еще перечитывал... Многого он не понимал, но зерно было брошено, попало в благоприятную почву и принесло плод.

На военную службу Кузьма был принят в знаменательный для России 1905 год, когда вся страна всколыхнулась. Он был назначен в один из артиллерийских дивизионов, квартировавших вблизи г. Киева. По прибытии в дивизион

он перезнакомился со всеми новобранцами, между которыми были и рабочие из городов. Он сразу был принят в их кружок. Они доставали книжки, давали ему читать их. Ему очень нравились эти книжки, и он читал их в каждую свободную минуту.

Спустя месяца три он с этими рабочими ходил уже на тайные собрания, где выступали приезжавшие из Киева товарищи, говорившие о свержении царя, о восстаниях и перевороте, и о многом другом... Здесь также, как и в городе, он не все понимал, о чем говорилось на собраниях; но он кипел ненавистью ко всем, угнетавшим трудящийся народ... и потому горячо прикрепился к этим тайным собраниям и книжкам. Тут он узнал, что бастовавшие не есть его враги, как его учили. Ведь он до службы и сам был и будет таковым врагом для кулаков и мироедов, или иначе,—они были, есть и будут врагами его и всего трудового народа. Особенно хорошо он понял это, когда прочел книжку под заглавием „Хитрая механика", в которой эти вопросы были обрисованы ярко и понятно.

Партийным роботником Кузьма не был; да и не годился в таковые. Он был тихого нрава, не любил спорить, со всеми соглашался, и у него не было самого главного—дара слова, которым нужно обладать при агитации. Правда, он был надежный массовик, которому можно было поручить кое-какую работу. Его часто посылали за литературой в известные пункты, поручали ему расбрасывать листки, раздавать книжки по усмотрению, и он выполнял это превосходно.

Начальство ни в чем его не подозревало; он был исправный служака и, в то же время, хитрый массовик. Ему даже было поручено в зимний период нанять квартиру будто бы для своей жены, приехавшей к нему, а на самом деле под именем его жены приехала партийная девица, и на эту квартиру собирались в зимние ночи на тайные собрания солдаты, что после провала спустя 9 месяцев Кузьме ставилось в вину,—из восьми человек, судившихся по его делу, он получил высшую меру наказания, 8 лет каторги, других судили на 6 лет.

В воскресенье, вечером, после семидневного путешествия, вдова Марина со своими спутниками, наконец, добралась до Киева. Все лаврские ночлежные дома были полны народа, и они вынуждены были ночевать в лаврском дворе под от-

крытым небом. Во дворе тоже было много народа, но двор был большой, и места в нем было много. Вдова Марина плохо спала эту ночь, не смотря на совершенный ею длинный путь. И, как только наступило утро, она сейчас же пошла отыскивать тюрьму.

Тюрьма находилась на противоположной от Лавры стороне города, и она, при помощи полицейских, кухарок, идущих на рынок и других прохожих, едва отыскала ее, проблукав битых три часа по улицам и переулкам этого большого города. Вблизи тюрьмы ей стали попадаться по дороге арестанты, закованные в кандалы и сопровождаемые конвойными с шашками наголо в руках. У ней сразу забилося сердце, и слезы рекою полилися из глаз. Она всматривалась в их изможденные лица, не мелькнет ли где между ними дорогое ей лицо ея сына. Подходила к ним ближе, хотела заговорить с ними, спросить про своего Кузьму; но конвойный крикнул на нее сердито:—проходи, проходи сердобольная! не подходи близко... нельзя разговаривать.—И она шла дальше. Приближаясь к тюремным воротам, она стала смотреть на окна громаднейшего четырехэтажного здания, обнесенного высокой каменной стеною, не покажется ли в каком окне сквозь решетку лицо ея сына. Но все окна были пусты. Они как будто глядели на нее страшно, зловеще, от чего у нее дрожь пробегала по телу. Этот громаднейший дом казался ей пустым. Она не знала, что обитателям этого дома нельзя показываться в окнах, если они хотят еще жить; ибо пуля часового моментально раздробит показавшемуся череп.

Но вот она приблизилась к воротам тюрьмы. Она хотела уже взяться за ручку калитки, как вдруг заметила сидевшего тут же у калитки на скамейке надзирателя с ружьем. Он посмотрел на нее изподлобья и спросил: —Что нада?—Она сразу не поняла его вопроса и только, когда он повторил его, она, выйдя из забытья, об'яснила ему, что пришла на свидание к сыну.

— В воскресенье придешь,—сказал он,—в будние дни нет свиданья.—Она услышала эти слова, и сердце сжалося у нея до боли. Думая, что все зависит от него, она начала было просить его, чтобы пустил хоть взглянуть на ее любимого сына. Он смягчился, стал разговорчивее и об'яснил ей, что от него это не зависит, что тут есть начальство по-

старше его; но что ей не помогут никакие просьбы, а пусть она придет в воскресенье. Поплакала бедная старушка, посмотрела еще раз на окна этого громадного чудовища, проглотившего ея сына, и побрела назад к своим на лаврский двор.

Эта неделя показалась вдове Марине целой вечностью. За эту неделю она побывала в пещерах, отговелась в Киево-Печерской лавре; ходила по монастырям, давала на молебны, сама молилась, искренно находя утешение только в молитве. Каждый день она приходила к тюрьме, смотрела на тюремные окна по целым часам, оглядывала кучки арестантов, которых приводили и уводили конвойные, искала между ними Кузьмы и не находила, и, простояв до вечера, уходила обратно на лаврский двор.

Наконец, дождалась она и воскресенья. Она встала на рассвете, умылась, помолилась богу и отправилась в тюрьму. К семи часам утра она была уже у тюремных ворот. Свиданье начиналось только в девять часов и она никого не нашла у ворот, кроме уже знакомого ей надзирателя с винтовкой. Поздоровавшись с ним, она присела на травку вблизи него и начала расспрашивать, скоро ли начнется свиданье, и к кому нужно обратиться, чтобы получить таковое.

— Только рано пожаловала, старушка,—сказал он,—до начала свидания часа два еще.

Через пол часа начали сходиться посетители. И к девяти часам публики был уже полон двор: тут были и старушки—матери, и жены, и братья и сестры, и отцы—старики, и дети—заключенных, и просто знакомые, принесшие что-нибудь для своих друзей из с'естного.

Ровно в девять часов вышел и старший надзиратель с револьвером с одного боку и с шашкой с другого, и с ним человек шесть надзирателей. Он начал отбирать паспорта у пришедших на свиданье, а надзиратели—передачи для заключенных. Отобрав, они их пересматривали, крошили, ломали и, смешав все в кучу, разносили по камерам.

Увидя старшего, вдова Марина подошла к нему и сказала, что и она пришла на свиданье к сыну.

— Паспорт давай, — грубо сказал он, обдавши ее водочным газом, он успел уже хлебнуть изрядно, чтобы не церемониться с посетителями. Когда же она сказала, что пас-

порта нет, а есть лишь удостоверение от старосты, которое тут же хотела подать ему,—он даже не взял его, чтобы посмотреть, и сказал уже сердитым голосом: — Нет, и уходи прочь... Свиданья не получишь. Паспорт надо иметь,—и начал отбирать паспорта у других посетителей.

Если бы вдруг гром грянул, то он так не ошеломил бы ее, как ошеломили ее эти слова. Она кинулась было к нему, начала на коленях умолять его, чтобы он пустил ее на свиданье к сыну, но он грубо оттолкнул ее и рявкнул на нее нечеловеческим голосом: — уходи, уходи, не мешай, некогда с тобой тут канителиться... Сказал тебе, паспорт надо иметь!... — Та в мене ж достов... — начала было она, но старший, не дослушав крикнул: — Иди ко всем черт...,— тут он вспомнил, что он не в тюрьме, не между заключенными, а между посетителями, и остановился, только сплюнул в сторону и скрылся с отобранными паспортами в контору. А вдова Марина ушла в сторону, села на травку и начала плакать, как малый ребенок... Через несколько минут старший надзиратель вышел снова, прочитал несколько фамилий и повел вызванных за собою в свиданку.

Долго она сидела и утирала слезы, которые лились у нее из глаз рекою. К ней подходили сердобольные старушки, у которых также сидели сыновья в тюрьме, подходили молодые барышни, утешали ее; говорили, что не надо отчаиваться, что надо только добиться к начальнику, и он пустит ее на свиданье. Но она ничего не слышала—она сидела и сквозь слезы бормотала какие-то несвязные слова, из которых можно было только разобрать: „син мій", „рідний", и т. п. Она, пожалуй, просидела бы и до конца свиданья так, еслибы не пришел ей на помощь интеллигентный молодой человек из посетителей. Он вызвал дежурного помощника начальника тюрьмы и об'яснил ему, в чем дело, и попросил его от себя, чтобы он не отказал ей в свиданьи.

Помощник как раз был один из лучших и, не заставив себя долго просить, послал надзирателя за ней. Когда ее позвали к помощнику, то она уж не знала, что ему говорить,—она пала перед ним на колени и начала умолять его, чтобы он пустил ее хоть взглянуть на ее родненького сына. Он велел ей встать, взял у нее удостоверенье и, прочитав его, пообещал дать ей свиданье.

Она начала благодарить его, но он, указав на молодого интеллигентного человека, сказал, чтобы она благодарила того. Она оглянулась, хотела было выразить ему свою благодарность, но его уже не было. Этот молодой человек, сделав свое дело, скрылся в толпе, и она не успела сказать ему ни одного слова.

Свиданье уже кончилось, и сам помощник повел ее в свиданку, а надзирателя послал за ее сыном.

Когда надзиратель вызвал Кузьму на свиданье, последний недоумевал. — Кто бы это мог быть?.. Неужели мать... Да!.. Это она... Больше некому...,—думал он, подходя к свиданке. — Бедная мать!.. что я ей скажу?.. чем утешу?..—задавал он себе вопросы и не мог найти ответа. Надзиратель отпер дверь свиданки, впустил его и запер за ним опять дверь. Свиданье происходило в большой зале, перегороженной по средине до пояса досками, а выше проволочной сеткой. Одно такое заграждение со стороны посетителей, а другое со стороны заключенных, и по средине проход в полтора аршина шириной, где во время свидания находился надзиратель, который следил за разговорами посетителей с заключенными; и за тем, чтобы разговор происходил только по-русски.

Войдя в свиданку, Кузьма заглянул в одно отделение, в другое и, наконец, в третьем увидел бледную, худую, с морщинистым лицом старушку—это была его мать.

— Бедная мать!.. как она постарела...,—промелькнуло у него в голове при взгляде на ее лицо.

Увидевшись, мать и сын первое время не знали, что и сказать друг другу. У нее, при виде сына в такой обстановке, закованного в цепи, звон которых она слышала, полились опять слезы рекой. Он секунду, две крепился, а потом и у него показались слезы.

Пересилив себя, он поздоровался с нею и заговорил, сдерживая слезы: — мама, зачем плакать? вы видите... я здоров... чего же больше?.. Я знаю, мама, вам больно видеть меня здесь, но разве вам не во сто раз было бы больнее видеть меня в карательном отряде, в отряде обагряющих руки в крови своих братьев...—предупреждение надзирателя о прекращении таких разговоров заставило Кузьму переменить тон: — Простите, мама, что я вам причинил

страдания, но я должен вам сказать, что иной дороги для меня не было... надеюсь вы меня поймете когда-нибудь.

— Знаю, знаю сину, що ти на худе не способен.., але все ж таки жалко...,—сказала она, утирая слезы: — ти кажешь, що ти здоров, але як же ти тут живешь? Як вас тут кормят?—Он посмотрел на помощника, сидевшего тут же в свиданке, и ответил уклончиво: — кормят ничего... как вообще в тюрьме... но я имею поддержку от товарищей и не голодаю... Уверяю вас, мамаша, они прекрасные люди, мои товарищи, и с ними я чувствую себя превосходно... они поддерживают меня не только материально, но и духовно... Но не будем говорить обо мне... Нам осталось так мало времени. Говорите лучше о себе; вы так постарели, похудели, вы много думаете обо мне... я прошу вас обо мне не думать, берегите свое здоровье... как там Ганя, брат Степан, невестка... как ваше хозяйство... Как хлеб в этом году на полях, есть ли фрукты в садах?..

— Та мое яке здоровля,—отвечала она, не отрывая от Кузьмы мокрых глаз, — держусь на ногах і слава богу... Ганя здорова, хазяїнує вже, тіки скучає за тобою... А хазяйство яке тепер... сидимо та плачемо з Ганею по цілим дням... Я вже стара, Ганя мала, хоть бери тай руки на себе покладай. — Не тужить, мамо, боріться з горем та нуждою, закаляйте Ганю, бо ви вже старі... може це послужить для неї уроком...

У них еще много оставалось не сказанного, но десять минут прошло, и помощник приказал кончать свиданье... Он разрешил это незаконное свиданье своей властью и спешил окончить его поскорее—вместо обычных пятнадцати минут дал только десять.

Злополучный щит*) упал на сетку и, не видя друг друга, мать крикнула:—прощай, сину... молись богу...—Прощай, мама!—донеслось до нея из-за шита, и замок в дверях щелкнул, дверь раскрылась, и надзиратель повел Кузьму в камеру. А вдова Марина, с глубоко запавшими в сердце словами „прощай, мама“ и с неудовлетворенным желанием, вышла из этого дома плача, и затерялась в толпе...

Смоленск, 1913 г. **К. Овчаренко.**

*) Щитом деревянным закрывалась сетка.—это означало, что свиданье кончено, и посетитель и узник переставали видеть друг друга.

Политические размышления шлиссельбургца землевольца М. Р. Попова.

Приводимые ниже рассуждения найдены в рукописях, оставшихся у меня после смерти моего дяди М. Р. Попова. Они были написаны, как значится на последней странице, 24-го декабря 1902 г. в Шлиссельбургской крепости. Помимо общего интереса, которым обладают все произведения покойного, выдающегося деятеля „Земли и Воли", они представляют и специальный интерес: в приводимых ниже строках отразилась борьба между марксизмом и народничеством, имевшая место и за стенами знаменитой политической тюрьмы. Они свидетельствуют, что интерес к теоретическим проблемам обществоведения не только не угас, но еще сильно вырос у революционера после двадцати трех лет каторги, что „заживо погребенные" горячо откликались на вопросы, столь занимавшие в то время русское общество, и хорошо в них разбирались. Отрезанные от остального мира шлиссельбуржцы жили теми же надеждами и увлекались теми же идеями, что и передовые люди за стенами крепости. Интересен этот отрывок и как показатель того, в каком направлении развивалась идеология землевольцев и народовольцев, выхваченных из борьбы и предоставленных самим себе. Они в своем маленьком мире—в каменном мешке—были поглощены теми же думами, которые занимали их товарищей на воле. Не имея журналов, они вели переписку друг с другом по вопросам социальной философии и политики. Одной такой статьей и является печатаемый ниже отрывок М. Р. Попова, где он полемизирует с товарищами и развивает свое политическое credo. Некоторые места данной статьи не понятны без сопоставления их с теми произведениями других шлиссельбуржцев, с которыми М. Р. Попов полемизирует. Было бы очень интересно опубликовать все их.

Проф. А. М. Ладыженский.

Политические размышления в шлиссельбургской крепости.

Прочел и я „Общий взгляд на внутреннюю политику с точки зрения С. Д. партии“ И. Д. Лукашевича, прочел и заметку Н. В. Новорусского к этой статье, написанную с тем, чтобы сгладить схематичность его программы в приложении ее к России. И вот к какому пришел заключению: чтобы понять нам друг друга, нужно условиться, что разуметь под С. Д.? Иначе мы будем говорить на разных языках и, конечно, не поймем друг друга. Прежде всего, что разуметь под С. Д. вообще? С. Д. партия—исключительно германская партия социалистов. Но есть небольшие группы социалистов и в других государствах, держащиеся принципов германских С. Д. Гезеты во Франции, небольшая партия С. Д. в Англии, во главе которой стоит Гайдман. Наконец, и в России есть партия С. Д. Вопрос теперь в том, какова программа всех социалистов, называющих себя С. Д.? Теоретическим обоснователем С. Д. программы считается Маркс. Он из основных положений своего экономического материализма, в частности своей теории трудовой ценности и последствий, вытекающих из нее, (неоплаченности всего труда рабочего предпринимателем—так называемой прибавочной стоимости) строит свою социалистическую доктрину. Прибавочная стоимость вот то, по его мнению, из-за чего капиталист и рабочий ведут войну,—рабочий с целью как можно меньше уступать капиталисту даром свой труд, а капиталист, чтобы взять как можно больше прибавочной стоимости в качестве предпринимательского барыша. Таковы производственные отношения капитализма. Капитал, как монополия капиталиста, имеет тенденцию к накоплению, и в силу этого сфера его деятельности будет расширяться, и в эту расширяющуюся сферу все больше и больше будет поступать рабочих, из которых он будет в качестве предпринимателя брать прибавочный труд, т. е. труд, не оплаченный рабочим. Затем Маркс считает таким

средством технические усовершенствования и открытия, которые капитал будет использовать для той же цели, а также и все знания, примененные в производстве. Но бессознательно для себя, в силу своей стихийной жадности он сам себе роет могилу. Он собирает на арене своей деятельности массу обездоленного пролетариата, обобществляет их труд, дает рабочим сообща понять свое положение и оценить услуги капитализма в производстве и дойти, наконец, до того пункта своей пролетарской логики, чтобы с полным сознанием своей силы и надежды на успех сказать капитализму: руки вверх. Отныне производство принадлежит труду, и капиталистический строй переходит в государственный коммунизм. Такова закономерность капиталистического хозяйства. С. Д. эту, начертанную в общих чертах, социальную доктрину Маркса признает своей программой, детали которой будут выработаны, конечно, жизнью, но общий план, общий дух этой доктрины будет об'единять все детали. Так учит Маркс; посмотрим теперь, что говорят Лукашевич и Новорусский?

Каждая группа граждан, утверждают они, обладает тем или другим видом благ, оказывает сопротивление всем другим группам, которые стремятся лишить их этих благ совершенно, или хотя бы отчасти. Отсюда—борьба, которая расширяется отнюдь не юридическими путями, и для которой право не имеет значения. Если говорят о Марксе, что он поставил вверх ногами Гегеля, то еще с большим основанием можно сказать, что Лукашевич поставил Маркса вверх ногами. Маркс отнюдь не является врагом права. Он предлагает рабочим бороться против современного правового порядка, который не соответствует фактическим отношениям, выросшим на почве капиталистического производства в настоящем обществе. Говоря языком юристов, Маркс думает, что рабочие постепенно сознают, что об'ективное право перестает совпадать с правом суб'ективным, возникшим на современных производственных отношениях, и потребуют изменения первого права в соответствии с последним. Лукашевич же в своем очерке предлагает зоологическую борьбу. Правда, он ко всякому из жизненных благ, за которые ведется борьба, приклеивает слово монополия. Но термин монополия—экономический термин и ничего не об'ясняет, а только производит аберрацию. Ниже читатели уви-

дят, как это неуместное слово в соединении с понятием публичной власти приводит и самого Лукашевича и М. Новорусского к тавтологии. А здесь я только укажу на неуместность его в соединении с духовно-религиозным благом. Правда, католическое духовенство действительно монополизировало, но только не „религиозное благо", а при помощи религии вещественное благо. Ради этого оно фальсифицировало религию, результатом чего была так называемая в истории „порча церкви", из-за которой пролито много крови во время Реформации.

Если не все историки согласны, что религия есть производное от экономического фактора, то едва ли теперь много историков, которые бы спорили против того, что „порча церкви" произошла от этого фактора. Монополия церкви, которая давала себя знать другим, была чисто вещественного характера. Пока ничто не угрожает вещественным благам церкви, папы не только не преследовали гуманистов, но приглашали их к своему двору. Даже сами папы были гуманистами, не говоря уже о других высших лицах церковной иерархии. Но лишь только они стали сознавать, что шутить с огнем опасно, ибо он может об'ять пожаром их земные блага, как начали преследовать еретиков. Если я прибавлю к этому то, что сказал о социальной доктрине Маркс, а именно, что политические, религиозные и человеческие отношения других категорий—суть производные от производственных отношений, то станет ясным, что Маркс и Лукашевич это далеко не одно и то же. И только можно выразить недоуменье, что М. В. Новорусский разделяет вполне основные положения С. Д. программы Лукашевича, как это он говорит вначале, а затем на стран. 15 и 16 своей работы пишет: „Экономическое и политическое развитие совершается в зависимости не от геройских толчков и усилий отдельных личностей, а от наличности классовых интересов, определяемых экономическими, или точнее, производственными отношениями, в каких состоят эти классы". Воля ваша, но мне, понимающему учение материалистическое материализма, как я его понимаю, и как мне кажется должны понимать его все, таковая фраза представляется не логичной. По моему одно из двух: или производственные отношения определяют общественные отношения, или общественные отношения определяются 5 благами Лукашевича,

(что равно—общественные отношения определяются общественными отношениями). Ибо что такое публичная власть? Творец и блюститель общественного права.—Что такое общественное право? Правовые нормы, санкционирующие фактические отношения суб'ектов в обществе, (другими словами суб'ективное право). Таким образом, когда Маркс говорит, что производственные отношения определяются фактическими отношениями суб'ектов в обществе, то это значит, что суб'ективное право есть первое производное от производственных отношений, за ним следует второе производное—об'ективное право и санкционерующая это последнее публичная власть. Отсюда—известные слова Лассаля: всякий народ достоин своего правительства. Посмотрим, что выходит у М. В. Новорусского, т. е. что, по его мнению, определяет общественные отношения, в том числе и классовые отношения? По его мнению, по крайней мере, как мне кажется, его только и можно так понять, что общественные отношения... определяют общественные отношения, и производственные отношения... определяют общественные отношения.

Словом, я решительно не умею разобраться ни в основных положениях ни Лукашевича, ни Новорусского, разве только допустить, что публичная власть определяется случаем в истории: например, дом Романовых случайно попал на русский престол и в качестве публичной власти определил общественные отношения в России. Но тогда уж нужно отказаться от понятия производственных отношений, а вместе с тем и от закономерности в развитии общества. Все, признающие закономерность в истории (как те, которые признают экономический фактор, так и те, которые вместе с экономическим фактором признают и духовный фактор), не об'ясняют публичную власть случайностью, а считают ее органически вытекающей из общественной жизни человечества, и конфликты общества с публичной властью об'ясняются тем, что фактические отношения в общественной жизни перерастают правовые нормы, санкционируемые публичной властью, и общество требует, чтобы правовые нормы были определены соотвественно этим фактическим отношениям. Может быть, Лукашевич или Новорусский докажут мне, что я их просто не понимаю, и выяснят свое положение. Но, во всяком случае, несомненно то, что они говорят

совсем другое, чем говорят С. Д., как европейские, так и наши. А поэтому, нам удобнее вести дальнейшую речь, только о том, что говорят Лукашевич и Новорусский. Оставим в стороне всяких других С. Д. Я совершенно согласен с В. Н. Фигнер, что Лукашевичу и Новорусскому удобнее было бы назвать себя как-нибудь иначе, чтобы не вводить людей в заблуждение.

Всякая школа во всякой науке, а также и в общественных науках, закрепляет за своим названием известные основные свои положения, и тот, кто не детали развивает из основных положений той или другой школы, а заменяет принципы школы, должен подыскать себе и своему учению другое имя. Порешив на этом, мы будем черпать,—я ваш „научно обоснованный" социализм из ваших статей, а вы мое народническое простодушие из этой статьи. Конечно, сказанное не лишает ни меня, ни вас права черпать доказательства и сравнения для подтверждения своих мыслей, где кто найдет это удобным. Я приступаю к проверке ваших положений общепринятым методом, т. е. фактической их проверкой, выяснением того—насколько в эти ваши положения вкладываются реальные явления общественной жизни.

Мне ваша точка зрения представляется каким-то прокрустовым ложем, в которое вы желаете втиснуть живую жизнь. Каждая группа граждан, обладающая тем или другим видом благ, оказывает сопротивление всем другим группам, стремящимся лишить их этих благ полностью, или хотя бы отчасти.

Таким образом в обществе появляются антагонистические деятельности, которые обыкновенно называется политическими. Я начну с „конца мелких земледельцев и крестьян в России". Мелкие земледельцы и крестьяне, говорит Лукашевич, в России еще в большей степени, чем на Западе, по своему низкому культурному уровню представляют оплот реакции, консерватизма и клерикализма. Здесь я останавливаю Лукашевича. Да позвольте, спрашивается, почему же ваши 5 благ тут пасуют, почему здесь не появляются антагонистические деятельности, которые обыкновенно называются политическими? Разве крестьяне в частности в общей своей совокупности не обладают ни одним из ваших благ? Вы говорите „мелкие землевладельцы и крестьяне",—значит, они владеют землей, то-есть одним из общественных благ?

Ну, положим, национального блага они могут не понимать, но, например, свойства, способности имеют же и они: силу, труд, ум, (хоть какой же нибудь есть). А уж красота, конечно, свойственна крестьянам. Ведь, если все это будете отрицать, то так вы можете по произволу распорядиться и со всякой другой группой, сославшись на что-нибудь, не имеющее ничего общего с вашими благами. Не понимаю,—быть может, вы чего-нибудь не договорили? Правда, таково отношение наших и германских с.-д. к деревне. Но их отношение к деревне мне понятно. Оно вытекает логически из их социальной доктрины. Вот как они определяют, или по крайней мере, определяли до сих пор такое свое отношение к деревне: крестьянство в своем настоящем виде, говорят немецкие с.-д.,—неизбежно осуждено капиталистическим развитием производства на смарку, и пока там не закончился процесс эксплоатации, пока там капитал не начал выполнять свою историческую миссию обобществления труда, нам необходимо итти с нашей программой на фабрику, где капитал подготовил уже условия нашей деятельности, где совершается обобществление труда, и нам остается только дать всеобщую форму обобществления труда—Государственный коммунизм. Точно так же и наши марксисты говорят, что они не идут в деревню не потому, что крестьяне темны и некультурны, и потому что мертвого из гроба не воротишь. Они даже не раз обращались по адресу земцев с таковыми словами: „Да оставьте ваши заботы о мужике". Заботьтесь лучше о себе. Ведь все равно из ваших работ не выйдет ничего, а придет время, мужик без вас научится грамоте. Вот посмотрите—не помню теперь, на какой район России автор указывал—и земства нет, и никто не заботится о просвещении мужичка, а грамотных там больше, чем у вас. (Приводятся статистические об'яснения этого, сводящиеся к тому, что крестьяне означенной местности занимаются отхожими промыслами) То ли еще будет, когда они вываряться в фабричном котле? Так ли на деле, нет ли,—это другой вопрос. Но упрекнуть вольных С.-Д. в нелогичности нельзя. Поэтому самому и Лассаль считает крестьянские германские войны реакционными явлениями; ибо если-бы крестьяне достигли своей цели, т. е. отняли бы у помещиков часть земли, то этим самым они отсрочили бы на целое столетие будущее царство пролетариата. Точно так, как космополи-

тизм не совместим с общественной структурой римлян, точно так, по учению Дюркгейма, пролетарская логика не совместима с современной структурой деревни. А низкий уровень сознания и просвещения тут является побочным обстоятельством. Он может сообразно условиям жизни класса играть или положительную, или отрицательную роль. Так, напр., в данном случае, если бы крестьяне при той наклонности к собственности, которая присуща вообще мелким буржуа, обладали знанием и большим капиталом, то экспроприация у них земли продолжалась бы дольше, и тем самым переход к коллективному производству отодвинулся бы еще дальше в будущее. Если все дело в некультурности деревни, если, как вы говорите, для крестьянства нужно лет 30—40 конституционной жизни,—это еще пол беды: в жизни народа это лишь один час. Добывайте конституцию, просвещайте некультурную деревню, и дело пойдет на лад. Но нет, Лука, *) не в этом дело, а в том, что вы впали в логическое противоречие с самим собою, ваша обязанность отстоять свои положения, а это Вы могли сделать, только доказав, что ваши блага при данных, сложившихся в прошедшем, формах жизни крестьян, имеют регрессивное влияние. Дай Вы бы на этом основании свое отрицательное отношение к деревне, то, может быть, с Вами не все бы согласились, как, например, не все соглашаются с С.-Д. Но Вас бы никто не имел права упрекнуть в логическом противоречии. Ваша точка зрения приложима к политической жизни любого народа, любой эпохи и, как вы говорите,—не знаю что то значит, „любого пространства". Научная же точка зрения говорит, что часто один и тот же фактор, один и тот же принцип может дать (и не в разные только времена, но в одно и то же время)—различные результаты. Так, например, капиталистическое производство в одно и то же время и разрушает старое и создает новое: разрушает старые формы труда и подготовляет новые формы для него. На этом можно и покончить о мелких земледельцах и крестьянах. Я хотел всем вышеизложенным сказать, что вопрос между русскими народниками и русскими С.-Д. идет не о том, оправдывается ли социальное учение Маркса в отношении пролетариата, а в том, охватит ли капиталистическое производство все роды труда, и нужно ли для перехода к коллек-

*) Тюремная кличка Лукашевича.

тивному труду предварительная экспроприация всех представителей труда, обезземление крестьян? Вы же на основани своих 5 благ на этот вопрос не даете никакого ответа. Вы просто заимствовали отрицательное отношение к деревне. Но не приняв почему-то его оснований к такому отношению, не дали и своих оснований, логически вытекающих из ваших основных положений. Потому же самому, что ваши „блага“ суть нечто неизменное для всех времен и народов, вы утверждаете—так было на Западе, так будет и у нас. Меня всегда ставит в недоумение то, что Вы, считая свою социальную программу научно-обоснованной, сплошь и рядом пользуетесь методом аналогий, методом, очень ненадежным. Действительно, во французской Великой революции буржуазия сыграла большую роль, хотя и не одна она, как из некоторых Ваших слов можно думать, а и крестьянство. Но дело не в этом, а в том, — почему французская буржуазия приняла столь видное участие в революции, и служит ли это доказательством того, что и русская буржуазия будет играть также первую роль в борьбе за политическую свободу? Для решения этих 2 вопросов нужно знать, чем была Франция перед революцией и что такое Россия в наше время? Нет никакого сомнения ни для кого, что все сходство только в том и состоит, что и во Франции перед ее революцией был абсолютизм и у нас теперь тоже. Но во всем остальном разница большая и особенно в отношении разности нашей буржуазии, или точнее нашего торгово-промышленного класса и французской буржуазии. Если о французской буржуазии можно сказать, что она перед Великой революцией переросла старые правовые формы, в которых ей, при ее богатстве и умственном развитии, жилось тесно (ибо она вместе с другими roturier'ами была отделена общей раздельной чертой от привиллегированного дворянства), то о русской буржуазии этого совершенно нельзя сказать. Несомненно, что во Франции этот класс, обладавший богатствами и знаниями, более всех чувствовал узкие рамки правовых порядков старого режима. Он не мог с ними мириться, старался их поскорее разбить и потому выделил из своей среды деятелей и руководителей революции. В таком ли отношении к русскому правовому порядку находится наш торгово-промышленный класс? Я думаю, что нет. Русский абсолютизм скорее благодеяние для нашего крупного буржуа, чем зло. В наше время русскому

торгово-промышленному классу некому завидовать, и он с крупными нашими землевладельцами чуть не составляет теперь знать, каковой был этот же класс в Англии в период реставрации Стюартов. Во всяком случае, наш помещик средней руки скорее сам завидует русскому купцу или фабриканту, чем служит предметом зависти для них. Правда, он, наряду со всеми другими классами, несет гнет русского абсолютизма. Но бремя его легко сравнительно со всеми другими, исключая крупных магнатов землевладельцев. Мне скажут, что наступит же рано или поздно предел, когда, при отсутствии политической свободы, промышленность перестанет прогрессировать. Когда-то еще настанет этот предел! Пока мы знаем, что предел этот еще не настал, ибо иначе русские купцы не жаловались бы, что им от промышленников в Лодзи житья нет, и не просили бы оградить их от этих врагов тарифами, а поступили бы совершенно наоборот —соединились бы с промышленными классами Польши. Да и какое дело нашим толстосумам, будет ли прогрессировать русская промышленность или нет? О государственном благополучии, по мнению наших предпринимателей, дело заботиться царя и его министров, а задача купцов—улучшать свое личное благополучие, и в этих пределах они сумеют оборотиться. Правительство тоже отлично понимает, что с купцом в возможных случаях необходимо держать совет. Государственным актом, правда, русскому торгово-промышленному классу не дано никаких прав. Но министр финансов приглашает их во всех важных случаях в качестве сведущих людей и, конечно, не par plaisir, а для того, чтобы принять их советы во внимание, ибо он явно уже постиг ту мудрость, что денежка денежку родит.

Конечно, есть, вероятно, теперь купцы,—(но много ли таких?), которые знают цену свободе и завидуют европейскому буржуа. Зато у нашего купца имеются плюсы, которым позавидует представитель европейского капитала. В самом деле, где в Европе так легко иметь к услугам капиталиста военную помощь, как в России? Не даром Кумачев в „Перевале“ Боборыкина говорит амбарному философу: „Стоит только написать телеграмму, и войско сейчас к моим услугам“. Стачка, т.-е борьба рабочих с фабрикантом, строго воспрещается. Нет, право, Лука, купцу в России хорошо живется, а человек совсем не такое животное, что бесится от

жира. Какого еще рожна нужно нашему купцу?! Стоит ли ему при тех благах, корые ему перепадают от самодержавия, рисковать своим богатством из-за политической свободы? Тэн совершенно верно сказал, что человек богатый скорей откажется от свободы, чем от богатства. Что же касается мелкой буржуазии, то пока она еще не исчезла с лица русской земли, но нам русским, которым прежде всего нужна политическая свобода, нельзя от нее отделываться словами, что мол она постепенно перейдет в класс пролетариата. Какую бы крупную роль ни отводили крупной буржуазии в борьбе с абсолютизмом в Европе, не станете же вы утверждать, что крупные буржуа дрались на баррикадах, и не станете также отрицать, что на этих позициях орудовали главным образом мелкая буржуазия и рабочий класс. А между тем меня этот вопрос очень интересует и вот почему: ни для кого, кажется, не секрет, что в течении 19-го века—в век расцвета крупного производства с гигантскими силами паровых и электрических машин, мелкая буржуазия при выборах в германский парламент (мелкие лавочники и маклера, представители мелких мастерских и проч. в этом роде), подают голос за С.-Д. Россия в этом отношении не отстала от Европы. По крайней мере, наши механические заводы, особенно на Юге, представляют предприятия громадных размеров. У нас, следовательно, производство еще более резко делится на крупное и мелкое. А между тем, наши промышленные тузы в силу отсутствия политического такта, в силу того, что „мы все могем", так вели себя по отношению к мелкой буржуазии, что создали в лице ее свою оппозицию. Обратите внимание в наших журналах на хронику гражданского самоуправления, и вы увидите, что городской бюджет тратится исключительно в пользу удобств заправил городского самоуправления, т.-е. крупных коммерческих тузов. Как ни придавлено, как ни безгласно наше городское мещанство, но и оно (было несколько примеров) обращалось к правительству с ходатайством о расширении их прав в городском управлении. И допусти только правительство в городское управление на ряду с имущественным цензом образовательный, наша мелкая буржуазия сгруппируется в опасную оппозицию крупному торгово-промышленному классу

Не даром крупная буржуазия наша так боится этого опасного нововведения. Мне кажется, что данное обстоятель-

ство, т.-е. этот резкий раздел крупной и мелкой буржуазии, поведет к тому, что крупная буржуазия бросится в об'ятия деспотизма.

Остается сказать еще несколько слов о дворянстве, которое вы рассматриваете как один класс. Я с этим также не согласен и думаю, что уже теперь настало время обнаружения антагонизма между интересами крупного и мелкого дворянства, что особенно заметно в земствах. Крупные землевладельцы настолько же заинтересованы в консервативной внутренней политике, как и промышленный торговый класс. (По крайней мере в тех видах промышленности, которая тесно связана с земледелием). Крупные наши земледельцы представляют консервативную силу. В этом убеждает уже одно то, что наш государственный корабль управляется по принципам консерватизма, а кормчий его, конечно, крупное дворянство, придворная знать. Исключения, вероятно, и тут найдутся. Но ведь нет правил без исключений. Остальное дворянство составляет прогрессивный элемент русский, и оно же главным образом представляет в наших земствах оппозицию. Вместе с профессиональной интеллигенцией мелкое дворянство является в настоящее время единственной оппозицией, и это понятно. Оно—единственный почти носитель образования в европейском смысле слова. Правда, и этот элемент, как и все остальные общественные элементы России, не выступил еще на арену политической свободной деятельности. Но зато он умом переживает политическую жизнь и деятельность Европы. И по его деятельности в земствах, хотя и не широкого размаха, в силу „независящих обстоятельств", не трудно заметить, что он обладает и политическим тактом и большим знанием условий русской жизни. Определенной политической программы он пока еще не создал, но спорадически, по тем или другим государственным вопросам, которые ставятся на очередь временем, он не руководится указаниями свыше, а наоборот, часто идет в разрез с этими указаниями. В доказательство данного положения стоит только указать на то, что сплошь и рядом правительство отказывает в земских ходатайствах на том основании, что эти ходатайства носят „антигосударственный" характер.

Если сравнить наши городские думы с нашими земскими самоуправлениями, то каждый из нас скажет без ко-

лебаний, что в земствах нам больше родственного, чем в городских думах.

Закончу речь тем, что Россия представляет конгломерат чрезвычайно разнообразных социальных сил, сил, столь еще не выбродивших, что можно еще делать догадки, более или менее вероятные предположения, которые выдавать за истинные положения нет положительных оснований. Возьмем хоть горячую полемику о народе и пролетариате в наших журналах. Откуда она? Да просто она основана на том, что люди голые мысли, часто взятые готовыми из европейской жизни, принимают за действительность. А между тем действительность просто таки бьет в глаза. Если, например, одна стачка на фабрике Мансвиля и Паля повела к тому, что 800 человек выслали в деревню, то ужели эти события, эти 800 кровных детей деревни, не произведут соответствующего впечатления, и деревня не поймет, в чем дело? Не ясно ли это говорит, что если бы нашим демократам удалось захватить в свою организацию фабричных и городских рабочих, то тем самым они широко популяризировали бы себя в деревне.

Теперь посмотрим, насколько вкладываются в программу Лукашевича и Новорусского события европейской жизни. Для того, чтобы дать основательную проверку, нужно знать точно состав каждой партии в европейских парламентах. Этого сделать я не мог, ибо для этого нужен материал, которого нет у меня. Но я покажу на одном примере, насколько программа европейских классов, данная Лукой, соответствует той программе, которую им приписывает он. Лукашевич так представляет нам германский парламент: а) дворяне—крупные землевладельцы защищают свои интересы и борятся из-за них с остальными классами и правительством, они реакционеры; б) крупная буржуазия своей партией считает националистов-консерваторов; в) средняя буржуазия своими идеологами имеют либералов, которые отстаивают интересы этой буржуазии и в борьбе с правительством вступают в союз с С.-Д.; г) прогрессисты, или свободомыслящие представители профессионального класса, отстаивают интересы этого класса; д) С.-Д.—представители рабочего класса, отстаивают интересы рабочего класса. Крестьяне по своей неразвитости не понимают своих интересов и служат оплотом-консерватором клерикализма.

Сеньобос же говорит, что было бы весьма трудно распределить партии германского рейхстага по отношению к правительству и называет оппозиционными правительству только 3 партии: а) национальную—датчане, поляки и эльзас-лотарингцы, б) демократическую партию и в) С.-Д. партию.

Остальные все партии, говорит Сеньобос, находятся в перемежающейся конституционной оппозиции. Вот эти партии: а) консерваторы—прусское дворянство и протестантское духовенство, б) партия консервативных либералов,—крупные промышленники, крупные землевладельцы и чиновники (партия эта всегда идет на буксире за правительством), в) национал-либералы, которых в 70 годах называли боевым конем Бисмарка; это не из Сеньобоса—так ее называли С.-Д., ибо она помогла Бисмарку провести исключительные законы против этих последних. Эта партия, говорит Сеньобос, оставалась тем, чем она была с начала своего возникновения в Германии, т.-е. еще с Франкфуртского парламента,—партией конституционно-империалистической. Она состоит из буржуазии. Цель этой партии поддерживать Бисмарка в деле об'единения Германии с прусским империализмом во главе; г) партия прогрессистов, или свободомыслящая—партия либеральная, но оппозиционно враждебная военному и бюрократическому строю; д) партия демократическая, или народная, радикальная и антипрусская; е) центр—партия католиков—монархическая и консервативная. Она была в 1871—1877 г.г., во время культуркампфа, в оппозиции правительству.

Нельзя не согласиться с Сеньобосом, что довольно трудно определить отношение партий в германском парламенте к правительству. Но согласиться с Лукой совсем невозможно. В особенности относительно национал-либаралов. Прежде всего, на каком основании он вручил знамя крупной буржуазии национал-либералам? Почему бы ему не вручить это знамя либералам консервативным? Очевидно, он разжаловал либералов консервативных за то, что они не умеют понимать своих классовых интересов. Разве совместимы классовые интересы крупных промышленников, крупных землевладельцев и чиновников? Но ведь и правительство, по Лукашевичу, „класс“, тем не менее национал-либералы, при своем появлении в Германском парламенте, так формулируют свою программу: „Цель наша—решительно поддер-

живать правительство в иностранной политике, сохраняя во внутреннем управлении роль блительной, но благонамеренной оппозиции". Но—и то было бы еще не бедой, ведь крупные промышленники—народ благонамеренный, а вот, например, это уже совсем не по программе Луки. В 1877 г., как раз сейчас после того, как национал-либералы помогли Бисмарку провести исключительные законы против С.-Д.: он их бросает в вопросах экономической политики и идет наперекор их интересов. Национал-либералы так же, как и прогрессисты—манчестерцы: ион и не могут расстаться с Бисмарком. Их в это время в парламенте было 98 человек, они образуют особую секцию—сначала только голосуют с прогрессистами, а затем сливаются с ними. 70 человек распределяются между консерваторами, т.-е. крупными землевладельцами и протестантскими попами и консервативными либералами,—т.-е. между крупными промышленниками, крупными землевладельцами и чиновниками. И Бисмарк при помощи консерваторов и консервативных либералов вводит протекционизм. Правда, за это, вероятно, национал-либералов попадает в парламент в 81 г. только 86 человек, и при том они уже делятся следующим образом: в консервативный лагерь идут 42 человека; к прогрессистам 44 человека. Но что же дальше происходит с национал-либералами? Их попадает в парламент все меньше и меньше. Перед 87 г. всего их было в парламенте только 42 человека, но вот во Франции выступает на сцену буланжизм. Бисмарк при помощи рептильной прессы пугает национальное чувство реваншем. В 87 г. в парламент выбирается 99 нац.—либералов. И троица из консерваторов, консервативных либералов и национал-либералов вновь образуется. При выборах в парламент опять возобновляется картель между этой троицей, т.-е. условие при перебаллотировках всем трем партиям передавать голоса представителю какой-нибудь одной из этих 3-х партий. Итак, руководились ли нац.-либералы програмой Луки—защищали ли интересы крупных промышленников, когда шли во всем на буксире за Бисмарком, или увлекались Бисмарком, как воплощением национальной германской славы? Мне думается, что последнее вернее. Иначе трудно понять, почему нац.-либералов так мало в парламенте теперь—из 157 человек в начале 70-х годов всего осталось теперь их 28. (28, или 30 в последние выборы в парламент). Их было в парламенте

157 чел. в то время, о котором Тургенев в одном из писем говорит: „у всех на устах: „Бисмарк—слава Германии“. Вероятно, не более руководятся программой Луки и партии других европейских парламентов. На этом я кончаю возражения против концепции Лукашевича о том, что каждая партия является представительницей определенного класса.

Подчеркну лучше некоторые научно-обоснованные положения Луки: „мелкое землевладение находится в более невыгодных условиях, чем крупное при наступлении кризисов... Крупный хозяин может сообразно с требованиями рынка переходить от одной культуры к другой, как это ни трудно и для него. Мелкий же хозяин принужден вырабатывать тот продукт, который соответствует размерам его земли и его денежным средствам, хотя бы спрос на этот товар был и невелик. Я уж не говорю о том, что крупный предприниматель имеет больше знаний... что он легче может добиться тех или других льгот от правительства“. На основании отмеченных трех оснований и решается этот вопрос без всяких колебаний. Я уж не говорю о том, что первое из них, согласно которому крупному хозяину легче переходить от одной культуры к другой, чем мелкому, поражает своей несостоятельностью. Представьте себе крупного землевладельца, уложившего для обработки своих полей под посев злаковых растений основной капитал в виде паровых плугов, паровых молотилок, жатвенных машин, сеялок, веялок и проч., представьте себе, что он переходит к скотоводству какого-нибудь рода, и вы поймете, что ему труднее это сделать, чем мелкому хозяину, работавшему на своем поле, почти только для своей семьи. На три „потому“, выдвинутых Лукой, существуют десятки „потому“,—неизвестные нам с Лукой. В самом деле, на каком же нибудь основании люди, специально занимающиеся этим вопросом, пришли к совершенно обратному выводу, а именно, что мелкие землевладельцы легче переносят кризис, некоторые даже утверждают, что мелкое землевладение прогрессирует, вопреки кризисам. Так думают: Булгаков, Гертц, Каблуков, Чупров и даже, говорят, сам Каутский начинает думать, что он на этот счет заблуждается.

И о биметаллизме я не совсем согласен с Лукой,—мне кажется его об‘яснение однобоким. Несомненно в наше время, когда хозяйство носит мировой характер, разменным това-

ром, или деньгами, должен быть один товар. Нелепости особенной в биметаллизме я не вижу. А вижу только лишь неудобство перевода одной меры на другую,—в роде того, какое мы, русские, испытывали при переводе метрической системы мер и весов на нашу систему мер и веса. Совершенно верно и то, что дворяне, заложившие свои земли, питали надежды на то, что при биметаллизме они меньшим количеством ценностей расплатятся с долгами. Но эта фантазия, как при монометаллизме, так и при биметаллизме осталась бы фантазией. Выиграли бы при монометаллизме владельцы золота и проиграли бы владельцы серебра. Дело в том, что раз товар перестает быть полезным для удовлетворения какой-нибудь потребности, его предельная полезность понижается, как сказали бы экономисты суб'ективной школы. Или, как говорили раньше, спрос на него уменьшился бы, и он пал в цене. Это и случилось с серебром, когда оно перестало быть деньгами. То же случилось бы и с золотом, если бы часть его роли, как денег, играло и серебро. Притом владельцы серебра тем более стояли за биметаллизм, что им угрожало обесценение серебра в виду открытия новых серебряных рудников. Вожделения же задолженных землевладельцев не оправдались бы. Ибо, если они меньше оправдали бы своих земельных продуктов за павшее в цене золото при биметаллизации, то при покупке других товаров им пришлось бы дать больше золота, ибо золото понизилось бы в цене по отношению ко всем товарам.

Скажу еще, что Лука ошибается, говоря, что земства, как переход к политической свободе, были во Франции и Пруссии. В Пруссии начали вводить земское самоуправление только в 1872 г., но Бисмарк в угоду прусским консерваторам остановил его введение, и организация сельского самоуправления там окончена только в 91 году. Правда, еще Штейн в 1808 г. предлагал ввести и сельское самоуправление на ряду с городским, которое было введено в этом году. Но король на это не согласился. Во Франции же и до сих пор нет никакого земского самоуправления, и только об этом идут речи. По адресу М. В. Новорусского скажу: если бы я был на воле и прочел Ваше дополнение к программе Луки, то подумал бы, что в Шлиссельбурге только Вы да Лука признают необходимость борьбы за полити-

ческую свободу, а все остальные отрицают ее. На самом же деле это было неверно. Здесь, кроме меня одного, в свое время числившегося на воле оффициально в рядах Черного Передела, все остальные—народовольцы, признавшие и на воле борьбу за политическую свободу и не на словах только, но и на деле. Вот, если бы кто-либо из народовольцев обратился с такой речью ко мне и вам (к вам на том основании, что вы соц.-дем., а соц.-дем. отрицают такую борьбу), то это никого бы не смутило; а я, наприм., сказал бы: да вы правы. А вам что же я скажу, кроме того, что вы ломитесь в открытую дверь.—Можно бы на этом и кончить, но вы в вашем дополнении говорите: в последнее время правительство поддерживает кустарное производство, и говорите это между прочим так, что простодушный человек и в самом деле может подумать, что правительство, действительно поддерживает ремесленников, и что кустарное производство гибнет даже несмотря на поддержку правительства, особенно, если рядом с этими вашими словами он прочтет у Луки: „На западе и соц.-демократы и все прогресивные умы давно махнули рукой на всю эту дребедень". Так вот на этот счет немного цифр: В России 1888—1890 на кустарное производство отпускалось по 35 т. р. в год. В последнее же время 80—110 т. Прусская же центральная касса располагает для этого 50 мил. марок. Бавария, Саксония и Вюртембург тоже имеют подобные учреждения. Во Франции на поддержку мелкого производства выдано в 1899 г. 40 мил. франков.

В Бельгии в 1900 г. парламент отпустил на поддержку мелкого производства для основания центральной кассы 30 миллионов франков, которые за 10 лет превратятся в 200 мил., если капитал Берлинской центральной кассы из 5 мил. за 7 лет возрос до 50 мил. Отсюда ясно, как поддерживается кустарное производство там, где на него махнули рукой не только соц.-демократы, но и все прогрессивные умы, и как в России, там, где даже великосветские барыни говорят: „Теперь мы все немножко социалисты",—поддерживают его.

24-го декабря 1902 г.

М. Р. Попов.

Из воспоминаний о землевольце шлиссельбуржце Михаиле Родионовиче Попове*).

Я познакомился с Михаилом Родионовичем в 1879 г. Это было тяжелое время для революционеров в Киеве. В феврале этого года происходили многочисленные аресты, а в мае казни. Погибли на виселице Осинский, Брандтнер и др. Оставшиеся на свободе притихли и притаились, так как не было организатора, который умел бы об'единить сильных и ободрить малодушных. Ведь в то время борьбу с правительством выносили на своих плечах единицы в буквальном смысле этого слова. Общество, хотя и сочувствовало борьбе, было робко и пассивно.

Кажется, в сентябре месяце, если не ошибаюсь, приехал в Киев Михаил Родионович именно с целью об'единить разрозненные элементы. Он сразу привлек меня к себе. Среднего роста, стройный, с небольшой бородкой, с насмешливой улыбкой, веселый, жизнерадостный, крайне подвижной и энергичный, он быстро завоевал симпатии киевлян. Он явился в Киев инкогнито, под именем Василия Николаевича, заимствовав псевдоним из тургеневской „Нови". Это был в полном смысле человек дела. Он, кажется, ни одной минуты не мог оставаться без работы для осуществления революционных планов.

Как сильно было влияние Михаила Родионовича на людей, приведу в пример Игнатия Иванова, безвременно по-

---

*) Автор воспоминаний—Николай Николаевич Подревский судился в военно-окружном суде в Киеве в июле 1880 г. вместе с Поповым (процесс 21-го), был приговорен к 15-летней каторге, был на поселении в Сибири, а потом получил разрешение переехать в Астрахань, где проживал до последнего времени. Воспоминания эти переданы были в 1908 г. их автором родственникам М. Р. Попова с правом их опубликовать. Нам они доставлены племянником покойного шлиссельбуржца, профессором А. М. Ладыженским. Так как деятельность М. Р. Попова протекала в Киеве, воспоминания о нем для нашего сборника представляют особенный интерес. *Ред.*

гибшего в шлиссельбургской крепости. В 1879 году это был молодой студент университета. До мая месяца, т. е. до казней, Иванов был противником освободительного движения. Он громогласно среди товарищей порицал революционеров и бранил их. Случайно он присутствовал при казнях. С этого времени он стал задумываться. Мужество, с которым умерли осужденные, глубоко поразило его. Натура его была цельная, и в этом отношении он был много похож на Михаила Родионовича. Он стал искать людей, которые раз‘яснили бы ему суть революционного дела. Но книги его не удовлетворяли. В это время раздумий и сомнений он познакомился с Поповым. В нем он сразу признал того человека, которого искал. Из колеблющегося и сомневающегося он сделался сразу самым горячим и деятельным революционером. Он привязался к Михаилу Родионовичу всей своей страстной и дикой душой и исполнял все его поручения, не колеблясь и не задумываясь. На него возлагались самые опасные поручения, которые он исполнял с удивительным спокойствием и даже веселостью. Такое сильное влияние Михаил Родионович производил и на других. Не удивительно, что в самое короткое время он составил довольно многочисленную группу единомышленников.

Мы с Михаилом Родионовичем быстро сошлись в програмных вопросах. Это была в сущности старая программа „Земли и Воли“, несколько видоизмененная. Организация народа и дезорганизация правительства должны итти совместно. Члены группы распределили между собой занятия по способности каждого.

Михаил Родионович обнаруживал замечательную тактичность в сношениях с людьми. Узости взглядов, нетерпимости, сектантства в нем не было и признаков. Он с охотою бывал на студенческих пирушках и вел себя на них, как студент, так что публика и не подозревала, что на вечере находится нелегальный деятель, разыскиваемый полицией и продолжающий заниматься революционной деятельностью. Этим он выгодно отличался от других революционеров, впоследствии прославившихся и ныне здравствующих, любивших рядиться в тогу таинственных незнакомцев.

Сверх того, Михаил Родионович замечательно ловко умел скрываться от шпионов. Как известно, киевская группа потерпела неудачу вследствие того, что имела в своей

среде шпиона Забрамского, который служил и революционерам и Судейкину. Благодаря этому, жандармерия довольно скоро узнала о приезде Попова в Киев и имела возможность следить за его деятельностью, и однако она не могла обнаружить его квартиру. Уже на суде Михаил Родионович сообщил адрес квартиры, и тогда в ней был произведен обыск, но, конечно, ничего не было найдено, так как все было уже убрано. Однажды он предложил мне пойти с ним на его квартиру. Квартира была сравнительно близко от моей, но мы попали в нее не скоро: ездили на извозчиках по каким-то переулкам, шли пешком, опять ехали.

Первое предприятие, которое задумала наша группа, состояло в том, чтобы вызвать народное восстание в Киеве. Эта мысль была весьма наивна, как думается теперь, но мы ведь и не были уверены в успехе. Это была просто демонстрация, не хуже всякой иной при том соотношении сил, какое существовало между правительством и революционерами.

Михаил Родионович взял на себя самую опасную роль, а именно, произнесение речи народу на рынке, куда по праздникам с'езжались крестьяне из соседних сел в большом количестве. К этому событию подготовлялись волнения в университете, забастовка железнодорожных и арсенальных рабочих. Все это приурочивалось приблизительно к средине ноября 1879 г. Ожидалось только какое-нибудь событие, которое могло бы сильно взволновать народ и общество.

Кстати, о рабочих. Уже в то время в Киеве была небольшая группа рабочих, распропагандированных, сочувствовавших делу освободительного движения и влиятельных между товарищами. Эта группа положила начало южно-русскому рабочему союзу. Она имела небольшую кассу взаимопомощи и устроила, при помощи интеллигенции лекции по политическим и экономическим вопросам, на которые собирались иногда до 30 человек рабочих, факт небывалый для того времени. Собирались поздними вечерами в глухой и отдаленной части города.

Впрочем я несколько увлекся воспоминаниями, отклоняющими меня от главной цели: нечего, кажется говорить, что Михаил Родионович был в курсе всех дел.

Судейкин, пользуясь донесениями Забрамского, организовал тщательный надзор за многими членами группы,

хотя сведения его были не полны, так как Забрамский не занимал в организации видного места. Начались аресты, но не давали положительных улик. Я был арестован в январе 1880 года и отправлен в тюрьму для препровождения в Восточную Сибирь административным порядком, как тогда предполагалось. Целых $2^1/_2$ месяца я не имел сведений о киевских событиях. Наконец, в апреле меня вновь отвезли в Киевскую тюрьму, там я встретил Михаила Родионовича и Игнатия Иванова, а также некоторых других членов группы. Собственно я свиделся с ними только по окончании следствия, а раньше мы переговаривались посредством перестукивания, а также передачи шифрованных записок через сторожей.

Свиделись мы, когда закончилось следствие. Михаил Родионович за время пребывания в тюрьме нисколько не изменился: все так же был весел и жизнерадостен, хотя ему угрожал тяжелый приговор.

Суда я описывать не буду, так как многие подробности ускользнули из памяти, а материалов под рукой не имеется. Михаил Родионович и Иванов были приговорены к смертной казни. Время до утверждения приговора тянулось очень мучительно, хотя Михаил Родионович попрежнему был спокоен и даже весел, и мы вели с ним длинные беседы, так как было дозволено выпускать из камер по нескольку заключенных для совместного пребывания в корридоре и на прогулках в тюремном дворе.

Смертный приговор был заменен каторгой.

Михаил Родионович оставил неизгладимое впечатление в моей душе, да, вероятно, и в душах всех знавших его. Это был человек с чистой душой, глубоко преданный народу, благородный, и при одном взгляде на него нельзя было даже допустить и мысли, что он был способен к чему-нибудь дурному и ничтожному.

До свидания, хороший товарищ!*)

Н. Н. Подревский.

---

*) Вот краткие сведения о М. Р Попове: Он сын священника— родился 27 ноября 1851 г. в селе Глафировка, около Ейска. В детстве он был свидетелем жестокого обращения помещика с крепостными и решительно заступался за крестьян. В рассказе „Люба“, напеча-

Протест эмигрантов в 1901 году по поводу отдачи в солдаты 183-х студентов в Киеве.

Среди моих старых бумаг я совершенно случайно нашла черновики протеста русских эмигрантов в Лондоне по поводу отдачи в солдаты 183-х студентов в Киеве. У меня два черновика протеста, один написан Чайковским, другой Волховским. Оба написаны собственноручно ими самими; под текстом протеста Волховского его подпись, под текстом Чайковского подпись их обоих — и Чайковского и Волховского.

Думается, что эти бумаги представляют некоторый интерес, и потому привожу их. Напомню в нескольких словах, что это были за студенческие беспорядки в 1900—1901 году. Начались они еще 1899 году. Ректор Петербургского университета вывесил об'явление, предупреждая, что если после 8-го февраля (8-е февраля—студенческий праздник) будут студентами совершены какие-либо „бесчинства“, то... и сле-

---

танном в „Вестнике Европы“ в 1912 г. М. Р. описал то революционизирующее влияние, которое на него оказали окружающие его в детстве сцены крепостничества. В 1861 г. М. Р. отвезли в школу в Ростов на Дону, по окончании которой он поступил в духовное училище в Мариуполе. Уже там учителя определили, что Попов не будет стремиться к обогащению, гоняться за кнышами, не сделается „кнышехватом“. Из духовного училища М. Р. перешел в екатеринославскую духовную семинарию, которую окончил в 1872 г. В семинарии от учителей М. Р. много слышал о смутном времени, о С. Разине и Пугачеве, о малороссийском казачестве, об общественном движении в западной Европе. В 1872 г. он поступил в Медико-хирургическую Академию. С 1875 г. вел усиленную пропаганду среди рабочих в Колпине, знакомя их с I т. „Капитала“ К. Маркса. Затем он вместе с В. Осинским, Л. Гартманом, Тищенком и Хортинским устраивал революционные ячейки на юге России. 6 декабря 1876 г., во время Казанской демонстрации, был арестован в Петербурге брат М. Р.—студент Академии Художеств—Илья. М. Р. пришлось отправиться на север. В Петербурге М. Р. с Г. В. Плехановым и Н. Лопатиным организовал забастовку на фабрике Торнтона. М. Р. созвал Воронежский с'езд партии „Земля и Воля“ и после раскола ее вместе с Плехановым перешел в „Черный Передел“. Свою деятельность он продолжал в Киеве и Ростове на Дону. Около Азова на хуторе брата М. Р., Алексея Р. Попова, была „штаб-квартира“ пропагандистов.

22 февраля 1880 г. М. Р. был арестован на Крещатике, в Киеве, и был присужден военным судом к повешению. Но наступила эпоха

довали всякие угрозы. Студенты были возмущены. На торжественном акте, на котором присутствовал министр народного просвещения и почему-то министр финансов Витте, студенты, по свидетельству самого Витте, вели себя сдержанно, выслушивали все речи, но когда вышел Сергеевич, ректор университета, они освистали его. По выходе из университета, части студетов, направлявшейся на Васильевский остров, удалось свободно разойтись по домам, те же студенты, которые должны были итти к Невскому и вообще в другую часть города, очутились перед разведенным дворцовым мостом и перерубленным льдом на Неве. Тогда толпой они двинулись к Николаевскому мосту, что уже создавало беспорядок. Вскоре их нагнала и окружила полиция, спрятанная в соседних дворах и в ответ на довольно детскую выходку одного студента, бросившего снежки в какого-то полицейского офицера, полицейские нагайками начали избивать безоружную толпу. Это избиение студентов вызвало протест среди всего петербургского студенчества и перекинулось в другие города. В скором времени забастовало уже 25 тысяч студентов по всем высшим учебным заведениям России. Последовали репрессии, были выработаны правительством новые временные правила. Правила эти не удовлетворили студенчество, а вызвали новые забастовки и сходки.

В 1900 году они начались сходкой в Киевском Политехническом Институте. Это была сходка протеста против

„диктатуры сердца“ Лорис-Меликова, и М. Р. несмотря на то, что он отказался подать прошение о помиловании и не позволил подать прошение родным, смертная казнь была заменена пожизненной каторгой. М. Р. был отправлен на Кару. Там он принимал деятельное участие в устройстве побега И. Н. Мышкина и других, за что его перевели сперва в Петропавловскую, а затем и Шлиссельбургскую крепость в одиночное заключение. В заточении М. Р. просидел 26 лет, из них в Шлиссельбурге 21 год. Директор департамента полиции фон-Валь предлагал М. Р. подать прошение о помиловании, но М. Р. отказался, и только революционная волна 1905 г. вынесла его на волю. Но всего лишь три года довелось М. Р. жить среди своих. 17 января 1909 г. он умер от рака печени. Последние годы жизни М. Р. много писал по истории русского революционного движения. Его статьи печатались в „Былом“, „Русском Богатстве“, „Вестнике Европы“, Голосе минувшего“, „Минувших годах“, „Историческом сборнике о минувшем“ и „Каторге и ссылке“. О нем написан ряд статей М. Ф. Фроленко, О. В. Аптекманом, С. Г. Сватиковым, М. А. Ладыженским и др. Весь архив М. Р. (письма из крепости, воспоминания и статьи) печатаются в настоящее время племянником М. Р.— проф. А. М. Ладыженским в издании „Института К. Маркса“ под редакцией Д. Б. Рязанова. Письма из крепости печатаются изд-вом „Право и жизнь“ под редакцией проф. М. Н. Гернета. В Америке Оберучев напечатал некоторые из воспоминаний М. Р.

временных правил. Любопытно, что одним из требований политехников было уничтожение процентной нормы для евреев, то-есть уже требование политического характера. Из Политехникума студенческое волнение перебрасывается на Киевский Университет и, как репрессия на это, 183 студента Киевского Университета отдаются в солдаты.

Вот что писал об этих событиях Ленин во 2-ом номере только-что начавшей выходить тогда „Искры“:

“Отдача в солдаты 183 студентов“.

(„Искра, № 2“. Январь 1901 г.).

„11-го января в газетах опубликовано правительственное сообщение от министра народного просвещения об отдаче в солдаты 183-х студентов Киевского Университета за учинение скопом беспорядков. Временные правила 29-го июля 1899 года—эта угроза студенчеству и обществу—приводятся в исполнение менее, чем через $1^1/_2$ года после их издания, и правительство точно спешит оправдаться за применение невиданной карательной меры, выступая с целым обвинительным актом, не жалея красок на изображение студенческих злодейств“.

„Злодейства одно другого ужаснее. Летом общестуденческий с'езд в Одессе с программой организовать все русское студенчество для выражения всякого рода протеста по поводу явлений академической, общественной и политической жизни. За эти преступные политические цели все студенты-делегаты были арестованы, документы отобраны. Но брожение не утихает, а растет и настойчиво обнаруживается во многих высших учебных заведениях. Студенты хотят самостоятельно обсуждать и ведать свои общие дела. Их начальство,—с тем бездушным формализмом, которым искони отличается русское чиновничество,—отвечает мелкими придирками, доводит недовольство до крайних размеров и невольно наталкивает непогрязшую еще в тине буржуазного прозябания молодежь на протест против всей системы полицейского и чиновнического самовластия“.

„Киевские студенты требуют удаления профессора, занявшего место уехавшего товарища. Начальство противится, доводит молодежь до „сборищ и демонстраций“ и... уступает. Студенты собирают сходку для обсуждения того—почему возможны такие гнусности, как изнасилование двумя белоподкладочниками одной девушки (как гласит слух)? Началь-

ство приговаривает главных „виновников“ к карцеру. Те отказываются подчиниться. Их увольняют. Толпа демонстративно провожает на вокзал уволенных. Собирается новая сходка, студенты остаются до вечера, отказываются уйти, пока не явится ректор. Являются вице-губернатор и начальник жандармского управления с отрядом солдат, окруживших университет и вошедших в аудиторию, и приглашают ректора. Студенты требуют—вы думаете, может быть, конституции?—нет—они требуют, чтобы не применяли наказания карцером и приняли обратно уволенных. Участников сходки переписывают и отпускают по домам“.

„Вдумайтесь в это поразительное соответстствие между скромностью и безобидностью студенческих требований и переполохом правительства, которое поступает так, как будто-бы топор был уже занесен над опорами его владычества“. Далее Ленин характеризует службу в армии в те годы и говорит: „Не удивительно, что отдача в эту школу произвола и насилия может быть наказанием и даже очень тяжелым наказанием, приближающимся к лишению прав“. И еще дальше Ленин говорит: „но ответить правительству обязано не одно студенчество. Правительство само позаботилось сделать из этого происшествия нечто гораздо большее, чем чисто студенческую историю. Правительство обращается к общественному мнению, точно хвастаясь энергичностью своей расправы, точно издеваясь над всеми освободительными стремлениями. И все сознательные элементы во всех слоях народа обязаны ответить на этот вызов, если они не хотят пасть до положения безгласных, молча переносящих оскорбления рабов. А во главе этих сознательных элементов стоят передовые рабочие и неразрывно связанные с ними социал-демократические организации“. И действительно, „все сознательные элементы во всех слоях народа“ откликнулись на этот вызов. Протесты в письменной форме, протесты в виде демонстраций посыпались со всех сторон.

Я жила в это время в Англии, и только отклики происходящего в России доходили до нас. Это было 25 лет тому назад, мне трудно восстановить теперь, что и как мы переживали в то время. В сущности говоря, я помню лишь 2—3 блика из того времени. И один из них очень яркий. Мы сидели в маленьком зале над кабачком Тома Манна на

Long Acre. Здесь собирались русские анархисты, да и вообще русские эмигранты, жившие тогда в Лондоне. Не помню—кто читал доклад, по поводу чего было это собрание, но помню, как бледный, взволнованный Чайковский быстро вошел и сказал, что он имеет известие из России, что в связи со студенческими беспорядками преполагается смертная казнь. Слух этот, кажется, оказался неверным.

Очевидно, тогда, а может быть, и раньше, лондонские эмигранты решили написать протест, черновики которого случайно сохранились в моих бумагах.

Общество действительно всколыхнулось. На демонстрации в Киеве, на Крещатике, было (по брошюре, описывавшей это) около 30 тысяч человек, из них лишь несколько сот студентов. Преобладали рабочие. Ядро демонстрантов, несшее красное знамя, состояло главным образом из рабочих.

А вот из одного частного письма описание этих событий в Москве: „Вчера было то, что мы, русские и москвичи, не привыкли видеть. Несколько дней тому назад 500 студентов было схвачено полицией. Обыкновенно толпа, народ, всегда бывала против студентов. Теперь же толпа (народрабочие) была за студентов и против полиции и власти. Вчера народ устроил в Москве демонстрацию. Толпы ходили по улицам (не злобно, а весело настроенные), пели песни и веселились. Полиция ничего не могла сделать. Были вызваны войска. Целые отряды казаков и солдат раз'езжали по улицам и разгоняли народ. На одном месте разгонят,—толпа соберется в другом. Солдат толпа встречала свистом и гиканьем (небывалое явление в России). Дома генерал-губернатора и обер-полицийместера были окружены войсками. Свистели войскам, а студентам кричали ура. Но настроение было не озлобленное, а веселое. Никакого безобразия и насилий не было“.

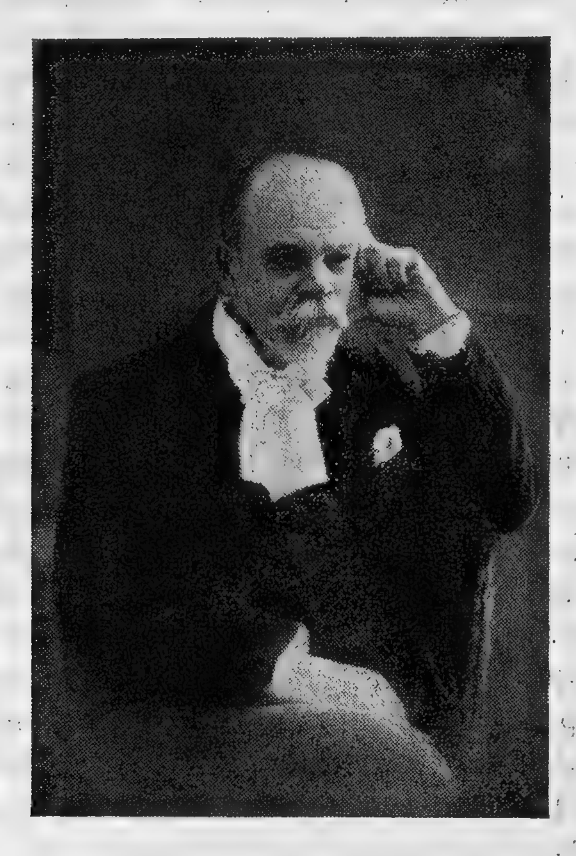
М.

Протест.

Царское правительство ознаменовало начало нового столетия новым злодеянием. Из опубликованного им оффициального „сообщения“ видно, что 183 студента Киевского Университета из „участвовавших в сходке 7-го декабря“ отданы в солдаты. Невинная и благородная попытка студентов поддержать нравственный уровень в своей среде

искусственно обращена в трагедию. По частным известиям, не менее 25-ти студентов Петербургского Университета, принимавших участие в волнениях в Петербурге, подверглись той же участи.

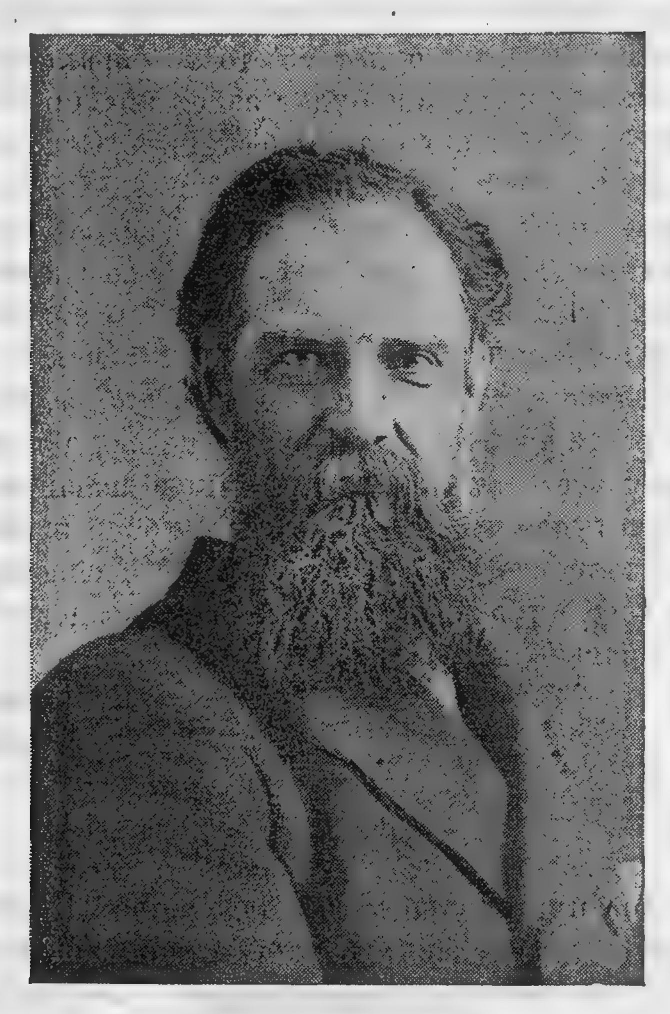
Новый шаг правительства с удвоенной яркостью подтверждает старую истину, что оно смотрит на русский народ так же, как смотрели на рабов—крестьян крепостники—помещики 40—50 лет тому назад. Как в те времена помещики отдавали своих непокорных рабов „под красную шапку", так теперь императорские министры, с соизволения всероссийского барина, отдают в солдаты студентов, отста-



Ф. Волховской.

ивающих свою человеческую личность и стремящихся поддерживать чистоту нравов в своей среде. Возвращение в XX-ом столетии к излюбленной практике коронованного капрала Николая I является мерою, стоящею вне всяких законов, даже в такой беззаконной стране, как императорская Россия, и возмущает все человеческие чувства. Царское правительство провозглашает солдатчину и военное ремесло лучшею школою для образования гражданского характера

людей, чем университеты,—то самое правительство, которое созвало Гаагскую конференцию и позировало на ней решительным осуждением войны и милитаризма.—Что ожидает молодых людей, стремившихся к высшему возможному для них развитию,—людей, которым всего дороже их человеческая личность и возможность работать на пользу народа,—что ожидает их в тех казармах, куда их ссылают? Ежечасное, ежеминутное оскорбление их лучших чувств слепой дисциплиной, полупьяным унтер-офицером или загрубелым



Н. Чайковский.

бурбоном. Они будут ежедневно свидетелями восстановленной прошлым царствованием кулачной расправы, тупоумных распоряжений и несправедливостей. Им самим подчас придется выслушивать площадные ругательства, но молчать и повиноваться. Не говоря уже об утонченной жестокости и чудовищной несправедливости подобного наказания,—ведь этих молодых людей заставят непрестанно ходить на краю

смертельной пропасти: одно горячее слово, одно невольное движение—может любого из них подвести под расстрел. Родители, помните это! — Между тем эти молодые силы суть надежда России. Россия не так богата (дарованиями, энергией, оригинальностью? и) образованием, чтобы вычеркивание двухсот умов, двухсот молодых рабочих сил из ряда ее умственных работников ничего для нее не значило. Но ведь это только начало. Все говорит за то, что царское правительство, которое никогда „не ошибается“, пойдет далее в своем людоедстве. Таким образом еще одно поколение выдающейся молодежи будет из'ято из обращения и в русской общественной жизни будет заложено прочное основание новой эпохи бездарности и безличия. Оскорбляя всех и все, новая мера не сделала исключения даже в пользу той самой армии, на которую опирается русское самодержавие: в царствование Александра II-го оно провозгласило военную службу почетной обязанностью каждого гражданина защищать свою родину, а в царствование Николая II-го, отдавая людей в солдаты, *как арестантов, в наказание*, она обращает армию в арестанские роты. И армия не забудет оскорбления

В виду всего этого, мы, нижеподписавшиеся русские граждане (уступая чувству внутренней боли и повинуясь голосу нравственного долга), обращаемся к совести всего цивилизованного мира и призываем его осуждение на голову царского правительства

Н. Чайковский.
Ф. Волховской.

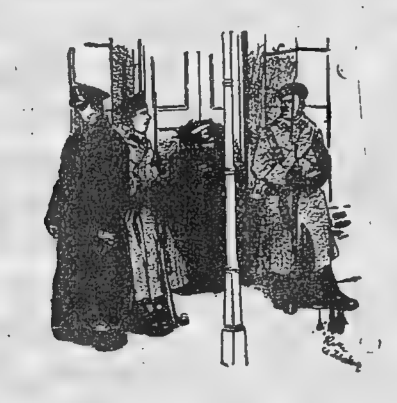
Протест.

Царское правительство опубликовало „Правительственное сообщение“ о киевских происшествиях, из которого видно, что 183 студента Университета св. Владимира из „участвовавших в сходке 7 декабря“, отданы в солдаты. 25 студентов (по другим сведениям больше) Петербургского Университета, принимавших участие в волнениях в Петербурге, постигла та же участь.

Мы, русские, не можем протестовать против каждого вопиющего акта насилия, совершаемого царским правительством, по той причине, что акты эти—лишь ежедневное, ежечасное проявление произвола, попрания человеческой

личности, лежащего в основе русского самодержавия. Но возвращение, в XX-м столетии, к временам коронованного капрала, Николая Павловича, представляет нечто выдающееся даже и в практике организованного государственного разбоя, практикуемого в России. Новая мера царского правительства топчет под ноги священные права человека, ибо она является вне-законной мерой даже в такой беззаконной стране, как царская Россия. Она насмехается над лучшими идеалами человечества—идеалами развития и братства—потому что провозглашает солдатчину и военное ремесло лучшею школою для „исправления“ гражданских идеалов людей, стремящихся почерпнуть их в высшем образовании. Она оскорбляет русскую армию, как защитницу родины, потому что обращается в арестантские роты. Присутствие в ее рядах молодых людей, потерпевших за стремление поддержать чистоту нравов в своей среде и независимость своей личности, может, само собой разумеется, только украсить эти ряды; но царское-то правительство думало, конечно, не об украшении, посылая их туда, *как арестантов, для наказания*, и русская армия не забудет этого оскорбления.

Мы, нижеподписавшиеся русские, обращаемся к совести всего цивилизованного мира и призываем его осуждение на голову царского правительства.



Саратовские смертники.

Нижний этаж одиночного корпуса Саратовской губернской тюрьмы наполнен приговоренными к смертной казни. Только две одиночки заняты не приговоренными: одна— мною за организацию вооруженного нападения на тюремную стражу с целью побега и другая—максималистом Саралевым, выдавшим эту организацию и укрывшимся в одиночке от гнева и мести принимавших непосредственное участие в организации побега. Привлекался Саралев по делу какой-то экспроприации, числился за военно-окружным судом и в начале июля 1908 г. был повешен.

Я сидел под именем Турунина, закованный в ножные кандалы по распоряжению начальника Саратовской охранки за попытку к побегу, когда меня вели с допроса из жандармского отделения в тюрьму.

По одну сторону моей одиночки сидел т. Горизонтов, максималист, приговоренный за убийство двух жандармов во время своего ареста, а по другую—один из товарищей, осужденных по делу Камышенской группы максималистов, фамилии не помню. С т. Горизонтовым мы были одно время соседями по камерам нижнего корридора общего корпуса и делились новостями и впечатлениями через стену при посредстве тюремной азбуки и даже строили всевозможные планы общего побега. С ним вместе мы путешествовали по темным карцерам за столкновения с тюремной администрацией и воевали в этих карцерах, когда во время вечерних поверок и обысков, надзиратели разливали по полу воду и рассыпали соль, после чего мы не имели возможности найти себе сухого места для сидения. Тов. Горизонтов глубоко верил в самое близкое торжество революции. Как до вынесения ему смертного приговора, так и в ожидании приведения его в исполнение, он ждал великих событий и надеялся на свое освобождение революционной массой. Не взирая на всю строгость, какая была по отношению к приговоренным к смертной казни, он ухитрялся передавать мне новости, ко-

торые узнавал на свиданиях, кажется, с сестрой. При этом он делал всякие предположения о близости в связи с передаваемыми новостями массовых выступлений и революции. Так однажды он поделился с нами следующею новостью:

„Вчера за городом, в помойных ямах, обнаружили несколько трупов казненных. До прибытия представителей власти собралась тысячная толпа и стала вылавливать трупы баграми. Трупы в арестантском белье, с обрезанными веревками на шее и со следами издевательств пред казнью произвели сильное впечатление на присутствующих: много было слез и истерик, а когда на место происшествия выехала полиция, и полицийместер стал приказывать присутствующим разойтись, в него было сделано из толпы два выстрела“. „Я уверен, что это даст хороший толчек, и не сегодня-завтра по Саратову будут развиваться красные знамена. Как ты смотришь на это?“

Эту новость он стал передавать своему второму соседу, и она в течении двух суток облетела все камеры, но ни на кого не произвела такого впечатления, как на т. Горизонтова.

Предполагаемое издевательство пред казнью волновало приговоренных больше, чем сама казнь. На казнь брали на 21-22 сутки со дня вынесения приговора. К этому времени каждый из приговоренных готовился и давал обещание соседям по камерам крикнуть последнее: „прощай“... Готовились к этому не только те, кого должны были брать на казнь, но и остальные. Проходили ожидаемые ночи, казнили приговоренных, и через 2-3 дня камеры заполнялись новыми. Никто не слышал, как брали, и никто не крикнул последнее: „прощай“... Выходя на следующий день на прогулку, каждый из нас видел пустые камеры с открытыми дверями и убеждался, что в эту ночь два-три товарища казнено.

Некоторые из приговоренных не дожидались казни, пытались сами кончать с собою. Один из аграрников, фамилии не помню, три раза покушался на самоубийство, первый раз прорвал брезент в койке, сделал петлю и, спустив корпус под койку, затянул петлю на своей шее, но надзиратель подсмотрел в волчек, и его вытащили из петли полуживого; второй раз—собрал необходимое количество воды в параше и опустил в нее голову, и третий раз—снял лампу,

облил себя керосином и зажег. В корпусе царило гробовое молчание, не было ни малейшего признака жизни. Вдруг по корридору раздался тихий, словно из-под земли, стон, и торопливо зашмыгали валенные сапоги надзирателя. Этот стон, точно электрический ток, облетел все камеры, и заключенные, точно по команде, бросились к дверям. По корридору забегали надзиратели и помощник начальника тюрьмы. Открыли против моей камеры дверь, и я увидел через незакрытый на этот раз в моей камере волчок человека об'ятого пламенем. Он стоял среди камеры и быстро-быстро вращался вокруг себя, а пламя, точно в бурю, с волнующимся шипением обнимало его с ног до головы и от головы с треском подымалось к потолку. Притащили пожарный рукав, и сильная струя воды сшибла его с ног. Еще несколько минут, и его обгорелого, с полопавшимися глазами, корчащегося в страшных мучениях, вытащили на корридор.

— Добейте меня... слышится мучительная просьба. И в ответ на это долетают слова начальника тюрьмы Гумберта:

— Собаке собачья и смерть!

По словам надзирателей, обгоревший умер в больнице через двое суток. После этого события лампы стали запирать на замок в проволочные фонари, подвешенные к потолку. Один из приговоренных повесился в темном карцере, после чего приговоренных перестали сажать в темный карцер.

После каждой вечерней поверки, когда предполагалась казнь, как ни старался я отвести свою мысль от этой тяжелой картины со всеми формальностями отвратительной расправы с человеком, она неизменно возвращалась и рисовала картину до мельчайших подробностей, начиная от психического состояния приговоренного и кончая техническими приготовлениями и завершением казни. Нервная система и слух напрягались, и самый незначительный шорох в корридоре мучительно больно отдавался в груди и голове. Затем постепенно убеждался, что казнь состоится не сегодня, нервное состояние несколько проходило, и тяжелый кошмарный сон закладывал уши и замыкал глаза. После таких ночей я иногда просыпал поверку, и тогда входили надзиратели, брали меня за голову и ноги, сбрасывали с койки на асфальтовый пол и закрывали койку.

Днем койки не открывались совсем. На полу лежать не разрешалось. Столик и сидение привинчены к стене.

День проходил в энергичном телеграфировании с обеих сторон одиночки. Мучительно-больные вопросы: „повесят?.. не повесят?.. сегодня?.. завтра?..“ сыпались с обеих сторон и требовали ответа не обнадеживающего, а укрепляющего и ободряющего. Безпрерывно напряженное состояние, административные строгости, доходившие до издевательств, и оторванность от всего живого стояли на пути к исчерпывающим ответам, доводили до дикого изступления, безсильною злобою давило грудь и перехватывало дыхание.

А вот кошмарная и мучительная ночь: полночную могильную тишину одиночного корпуса разрезало тихое зловещее шуршание. Не слышалось ни одного ясного, отчетливого звука, а только лишь общее шуршание, напоминающее отдаленный дождь в тихую летнюю ночь в лиственном лесу. Но здесь, где костлявая смерть под руководством озверевших гнусных палачей, имеющих лишь подобие человека, отыскивает все новые и новые жертвы на кровавый алтарь самодержавия, это шуршание превращается не в отдаленный дождь, а во что-то жутко-зловещее. Оно медленно приближается, как бы опускается сверху невидимой громадой, готовой раздавить все живое и замирает у одной из одиночек. Через минуту мертвую тишину разрезал слабый звук: „эккх“! с коротким звоном кандалов, и шуршание так же тихо, как приближалось, стало удаляться. Еще одна минута томительного молчания, и кандальный звон нервно зашагавших по одиночкам корридора смертников, как бы охнув от адской боли, зазвенел прощальным приветом, разбудил спавший корпус и, слившись со всем живым, претворял похоронную мелодию в победный марш. В возбужденных товарищах кипела безпредельная злоба к палачам, выхватившим еще одну жизнь, крепло убеждение в необходимости продолжения безпощадной борьбы, вера в победу рабочих и крестьян и—социалистическое будущее.

Оставшиеся смертники решили не допускать такого гнусного подкрадывания, встретить палачей бодрствующими и послать прощальный привет остающимся. Не всем удалось привести это в исполнение. Из группы Камышенских максималистов одному лишь удалось вступить в борьбу с палачами, крикнуть три раза: „товарищи, прощайте!“ и тем по-

прощаться со своими сопроцессниками. В ответ на это дали дружный звонок из всех одиночек, крикнули ответное: „прощайте!“ и кто-то нервно и слабо запел: „Вы жертвою пали...“ но сейчас же оборвался и умолк.

Три месяца: май, июнь и июль 1908 г. нижний корридор одиночного корпуса Саратовской губ. тюрьмы принимал приговоренных к смертной казни и отправлял их на казнь. В Саратове и теперь еще есть очевидцы извлечения из помойных ям трупов казненных.

Я надеюсь, что организованное в конце прошлого года Саратовское отделение Всесоюзного О-ва Политкаторжан и ссыльно-поселенцев соберет все, что могут об этом рассказать еще живые свидетели, обработает этот сырой материал и опубликует его, как нечто, характеризующее эпоху реакции, ее влияние на рабоче-крестьянские массы и ее отражение в тюремном режиме.

И. Иванов.



Памяти А. И. Бычкова.

Крайне немногочисленные ряды народовольцев в Обществе Политкаторжан все редеют. Смерть никого не щадит. В течении только последних нескольких месяцев наше Общество потеряло четырех своих товарищей. Весною этого года умерли шлиссельбуржцы Дмитрий Яковлевич Суровцев и Василий Семенович Панкратов, а в сентябре этого же года—шлиссельбуржец Михаил Васильевич Новорусский и подвергавшийся многим административным репрессиям Александр Иванович Бычков.

Тернистый путь русского революционера А. И. Бычков, родившийся в с. Яблоновке Черкасского уезда, Киевской губернии, начал в Киеве в 1881 году восемнадцатилетним юношей, учеником 7-го класса 2-ой киевской гимназии. Только о первых шагах Александра Ивановича по этому пути я и хочу дать краткую заметку,

Киевским жандармским управлением были получены секретные сведения, что из гор. Нежина были получаемы письма „преступного" характера на имя воспитанника 7-го класса 2-ой киевской гимназии Михаила Кржижевского. 30-го марта 1881 года начальник жандармского управления, полковник Новицкий, директор и инспектор гимназии в присутствии Кржижевского осмотрели в здании гимназии полученное на имя Кржижевского письмо. По вскрытии его обнаружилось, что автор письма, подписавшийся „Г. П.", просит сообщить ему сведения, нужные для составления подложных документов, и указать ему способы для снятия печати с подлинных документов, так как он новичек в этом деле. Кржижевский заявил, что он в Нежине знакомых не имеет, ни с кем переписки не вел, письмо писано не ему, и что товарищ его по гимназии, Александр Бычков, просил его получать для него, Бычкова, письма.

В связи с имевшимися в жандармском управлении сведениями о политической неблагонадежности жившего вместе с А. И. его брата, студента Киевского Университета, Вла-

димира, у братьев Бычковых был произведен обыск. На допросе Александр Бычков, подтвердив, что он просил Кржижевского получать для него корреспонденцию из Нежина, отказался указать лицо, для которого она предназначалась. Что показал на допросе брат его Владимир, установить трудно. Согласно донесения департаменту полиции Киевского губернатора Гессе Владимир Бычков показал, что в Нежине проживает его хороший знакомый, учитель нежинского приходского училища Григорий Пархоменко, с которым ведет переписку, что почерк письма имеет сходство с почерком Пархоменко, что он действительно с Пархоменко вел лично и в письмах беседу по поводу обстоятельств, поименованных в письме. Полковник же Новицкий в ответ на запрос управляющего канцелярией временного харьковского генерал-губернатора, между прочим, сообщает, что Владимир Бычков заявил, что в Нежине имеет только одного знакомого, учителя Нежинского приходского училища, Григория Пархоменко, но что с ним переписки не ведет. Как бы то ни было, Бычковы были арестованы в Киеве, а Пархоменко в Нежине.

Александр Бычков до отдачи его на поруки отцу около 2-х недель содержался при гимназии. Задержанный при гимназии 30-го марта Кржижевский 1-го апреля был освобожден. Григорий Пархоменко сначала отказался дать какие-нибудь показания, но затем просил вызова в Киев, чтобы дать откровенные показания. Тут не место распространяться об откровенных и обширных показаниях Григория Пархоменко, заслуживших полного доверия Новицкого, повлекших целый ряд обысков и арестов, и послуживших основанием для привлечения к делу в качестве обвиняемых нескольких лиц.

К июню 1881 года окончилось дознание по обвинению бывшего воспитанника 2-ой киевской гимназии Александра Бычкова в преступлениях, предусмотренных 3 ч. 251 ст. Улож. о нак., а студентов: Владимира Бычкова, Николая Ааронского, Ивана Игнатенко, учителей: Григория Пархоменко, Никифора Лук'яновича, Андрея Ященко, Василия Ковтуненко, и воспитанника нежинской гимназии Александра Любарского—318 ст. Улож. о наказ. Впредь до окончания дела Владимир Бычков и Ааронский содержались под стражею в киевском тюремном замке, а Игнатенко, Пархо-

менко, Лук'янович, Ященко, Ковтуненко и Любарский отданы под особый надзор полиции на местах их жительства. Александр оставлен на поруках отца.

По повелению царя от 14 октября 1881 года дело было разрешено в административном порядке с тем, чтобы:

1) Николая Аарорского и Владимира Бычкова выслать в распоряжение генерал-губернатора Восточной Сибири для водворения их в местностях вверенного ему края на жительство под надзор полиции.

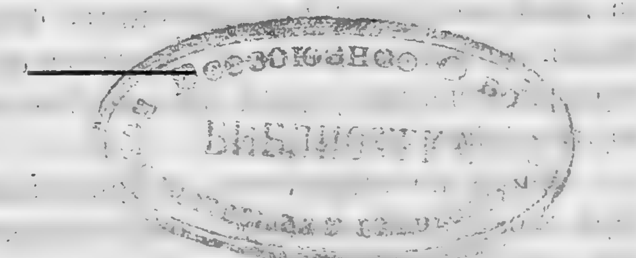
2) Подчинить Александра Бычкова и Никифора Лук'яновича гласному надзору полиции на 3 года, с воспрещением им в течение означенного времени пребывания в столицах, столичных и Таврической губерниях и в Юго-Западном крае, а Лук'яновичу сверх того—и педагогической деятельности.

3) вменить Андрею Ященко и Василию Ковтуненко в наказание предварительное их по сему делу заключение и учредить за ними гласный надзор полиции на два года, с воспрещением им в течение сего времени педагогической деятельности.

4) вменить Григорию Пархоменко в наказание предварительное по сему делу заключение и сделать ему строгое внушение, с учреждением за ним нелегального наблюдения полиции в течении двух лет и

5) подчинить Александра Любарского и Ивана Игнатенко гласному надзору полиции на один год, дозволив им окончить начатое образование и, в случае поступления их в одно из учебных заведений, учредить за ними, вместо надзора полиции, строгое наблюдение их учебного начальства на все время пребывания их в заведении.

Л. Б-н.



Драма Тамары Принц.

(По материалам Одесского Истпарта).

Смерть максималистки Тамары Петровны Принц, покончившей самоубийством в момент покушения на командующего войсками Одесского военного округа барона Каульбарса, настолько загадочна и трагична сама по себе, что невольно приковывает внимание и вызывает вопрос: что послужило причиной драмы, разыгравшейся 28 июля 1906 года в номере Петербургской гостинницы в Одессе?

Был ли то сентиментализм, навеянный встречами с обласкавшим ее сатрапом, разочарование ли в идее террора, боязнь ли совершаемого, неуверенность ли в собственных силах, или наоборот—высшее служение идеалу, строгое отношение к взятому на себя поручению, которое благодаря роковой случайности не было доведено до конца, и не сознание ли ответственности перед товарищами и революцией заставили Тамару слишком быстро искать смерти?

В виду того, что покушение на Каульбарса и связанная с ним смерть Тамары почти не были освещены в печати, мы позволим себе изложить его сущность и обстоятельства, его сопровождавшие.

В период разгула Столыпинской реакции с ее массовыми казнями и еврейскими погромами—командующий войсками Одесского округа генерал Каульбарс являлся одной из наиболее ярких черносотенных фигур. Естественно, что боевая организация с.-р. максималистов, подготовлявшая террористические удары против Столыпина и его клики, не могла обойти Каульбарса.

Когда постановление о применении смертного приговора к барону Каульбарсу было вынесено боевой дружиной, возглавляемой Соколовым „Медведем“, привести его в исполнение взялись двое товарищей—Тамара Петровна Принц и Михаил Языков, известный под кличкой „Крестьянина Голубкина“. Мы вкратце остановимся на личности этих

двух выдающихся товарищей, искренно служивших делу освобождения трудящихся и погибших на своих революционных постах.

Тамара Принц родилась в начале 80-х г.г. в богатой аристократической семье. Ее отец генерал Петр Принц, служивший в Польше, приходился родным братом жене генерала-ад'ютанта Кауфмана, председателя Общества Красного Креста. Отец Тамары служил в Варшаве одновременно с бароном Каульбарсом, находился с ним в хороших отношениях и часто с ним встречался. Тамара Петровна также бывала в семье барона и была дружна с его дочерьми. Несмотря, однако, на аристократическое происхождение и консервативную среду, где ей приходилось жить, Тамара скоро сошлась с революционерами, прониклась социалистическим учением и уже в 1906 году мы ее видим в рядах боевой организации с.-р. максималистов, едущей в Одессу с террористическими целями...

Миша Языков, как звали его в максималистской среде, происходил из г. Рязани. Молодой энтузиаст, необыкновенно живой, впечатлительный и глубоко преданный революционному делу, он весь был проникнут тем духом революционного террора, которым отличались первые русские террористы землевольцы и народовольцы. Впоследствии он погиб в Екатеринославе во время вооруженного сопротивления при аресте.

19-го июля 1906 года Миша Языков под именем спасского мещанина Петра Семеновича Голубкина прибыл вместе с Т. П. Принц в Одессу, где они остановились в номере Петербургской гостинницы, находящейся рядом с дворцом командующего войсками Каульбарса.

Дней за десять до этого барон Каульбарс получил по почте со штемпелем „Варшава“ угрожающее анонимное письмо, в котором ему предлагалось выйти до 30 июля в отставку, в противном случае —он будет убит. Автор письма предупреждал Каульбарса, что он не еврей: „к несчастью я родился православным, которого имени стыжусь, потому что нас везде презирают“. Судя по тону письма, по малограмотности выражений и по оригинальной подписи под ним, можно с уверенностью сказать, что письмо писалось кем-то ради простой угрозы, но во всяком случае не лицами

причастными к готовящемуся покушению. Привожу его без изменений:

„Его превосходительству господину командующему войсками Одесского округа **Каульбарсу**.

14-го июля.

„Господину Каульбарсу, Одесса.

По указанию нашей организации сегодня было постановлено и решено тебя, мерзавца, убить, которое жребие я достал. Если тебе не известно за что,—то я тебе могу написать: за твою чудную речь, которую ты держал перед еврейскими представителями. Не думай, что я тоже еврей—нет, к несчастью я родился православным, которым именем я стыжусь, потому что нас везде презирают...

Мы тебе предлагаем: ты имеешь два выхода: подать в отставку до 30 июля с. г. или до этого времени быть убитым. Выбирай лучшее для себя.

Боевая дружина союза всей
несчастной России.

Рука пишущего уже в Одессе."

Как ни наивно это послание, но, прочитав его, Каульбарс несомненно был настороже и естественно—всякий неосторожный шаг со стороны подлинных террористов мог погубить все дело.

Между тем Тамара Принц, благодаря близкому знакомству с дочерьми барона еще в Варшаве, скоро получила доступ в его квартиру. Живя скромно в гостиннице и не вызывая ничьего подозрения, она усиленно собирала сведения о жизни Каульбарса, о его выездах, о дне приема. Называла себя хорошей знакомой барона, несколько раз беседовала с швейцаром гостиницы, стараясь узнать, когда лучше всего можно застать командующего дома.

Собрав необходимые сведения, она явилась во дворец Каульбарса и обратилась к его ад'ютанту с просьбой доложить о ней барону, как о его знакомой. Каульбарс вышел к ней в приемную, где сидело несколько офицеров. Назвав себя, Тамара спросила командующего, помнит ли он ее. Лицо просительницы показалось барону незнакомым. На вопрос, что ей нужно, Тамара ответила, что желает говорить с ним наедине. Каульбарс согласился, но встревоженный полученным недавно угрожающим письмом, стараясь все же быть спокойным, задал ей в шутливой форме вопрос, не думает ли она бросить в него бомбу, добавив, что по нынеш-

ним временам все возможно, и что такой вопрос он задает всем дамам, обращающимся к нему по делам.

Тамара не растерялась, Улыбнувшись, она отделалась несколькими словами и спокойно прошла в кабинет. Здесь она рассказала барону свою историю, заставившую ее обратиться к нему за содействием. По ее словам—она собирается выйти замуж за любимого человека, который приехал с ней в Одессу, но что существует серьезное препятствие к их браку, и барон должен ей помочь. Каульбарс, ласково отнесшийся к дочери своего старого знакомого, охотно дал обещание и просил подробно посвятить его в дело. На этот раз свидание на этом и закончилось.

Через несколько дней Тамара Принц снова навестила барона. Об этом свидании Каульбарс в своих показаниях судебному следователю по важнейшим делам, между прочим, говорит, что посетительница была сильно расстроена, нервничала и говорила, что находится в ужасном состоянии. Потом вдруг, будто бы спросила, какого он мнения о самоубийцах. „Я презираю таких людей“, ответил ей Каульбарс, „это признак малодушия; с жизнью нужно бороться“.

Почему Тамара Принц при свидании с Каульбарсом заговорила внезапно о самоубийстве, понять не трудно: барон, повидимому, искренно сочувствовал молодой девушке и, чувствуя себя ее благодетелем, встречал ее, как близкую знакомую. Подозрительность его улеглась, он много и долго беседовал с ней, ласково, по отечески, а может быть, движимый и другими побуждениями, фамильярно хлопал ее по плечу и гладил по колену. Был момент, когда рука Каульбарса нечаянно коснулась кармана платья Тамары, где лежал браунинг. Еще одно движение руки барона, и он наткнулся бы на револьвер. Казалось, с трудом налаженное дело рушится. Тамара Петровна быстро поняла, какой опасности она подвергнет себя и дело, если ее собеседник нащупает браунинг. В нее даже вселилась уверенность, что он уже коснулся оружия.

Однако Тамара Петровна не растерялась. Внезапно переменив тему разговора, она заговорила с ним о самоубийстве, о чем Каульбарс и говорит в своих показаниях.

— Если он что и подозревает, думала террористка, то ее намеки на желание покончить с собой должны успокоить

подозрительность барона, а также и об'яснить причину ношения с собой оружия, если он его обнаружит.

Об этом факте мы знаем со слов члена той же максималистской организации, Ксении Александровны Мышецкой, которой о подробностях свидания Принц с Каульбарсом рассказал Миша Языков, знавший об этом от самой Тамары.

Перейдем к трагической развязке.

В роковой день 28 июля Тамара по телефону осведомилась, может ли она быть принята Каульбарсом. Ей ответили, что генерал ее ждет в 7 часов.

— „Передайте барону, что я приду“.

Утром этого дня ее встретила хорошая знакомая Р. И. Рабинович, знавшая о миссии Тамары и считавшая ее уже обреченной.

— Я встретила Тамару в день покушения утром, сообщает Роза Рабинович, она была совершенно спокойна.

В 4 часа дня Тамара, одетая в черное шелковое платье, с револьвером за корсажем, вышла из гостинницы, направляясь к дворцу Каульбарса. В руках ридикюль, в котором лежал заране приготовленный снаряд, оказавшийся адской машиной с часовым механизмом, установленный для взрыва на 7 часов вечера, т. е. в то время, когда назначен был прием. Механизм адской машины помещался в особом цилиндре, соединенный с бомбой и с запальной трубкой, у которой был предохранитель.

Пройдя несколько шагов, Тамара нечаянно уронила черный мешочек—ридикюль со снарядом, произошло шипение, но так как предохранитель не был открыт,—взрыва не последовало. Тамара быстро схватила с земли ридикюль со снарядом и увидев, что за ней наблюдает полицейский надзиратель Лисицкий, скорыми шагами направилась обратно в ворота Петербургской гостинницы и, войдя в свой номер, выстрелом из браунинга лишила себя жизни. Все это произошло быстро, в одно мгновение.

Прибежавшая полиция застала в номере на полу молодую женщину мертвой; на груди виднелось кровавое пятно. Выстрел был смертелен: пуля прошла ниже соска, под которым была видна рана. Такая же рана виднелась и на спине, так как пуля прошла на вылет. В углу комнаты валялся черный ридикюль с разрывным снарядом. Один из полицейских обнаружил на столе конверт, адресованный:

„следователю по моему делу", а в нем сложенный лист бумаги с письмом следующего содержания:

„Убиваю командующего войсками барона Каульбарса по приговору боевого летучего отряда социалистов-революционеров максималистов". Тамара Принц.

При разряжении обнаруженного снаряда произошел взрыв, как из 8-ми дюймового орудия. Сила взрыва была так велика, что вокруг образовалась глубокая яма, а в домах задрожали стекла. Эксперты утверждают, что, если бы он взорвался во дворце, половина дворца была бы разрушена до основания.

По имеющимся в нашем распоряжении архивным материалам главные участники этой драмы, Тамара Принц и успевший скрыться Михаил Языков (Голубкин), проходят перед нами лишь бледными тенями, и подлинный облик этих двух незаурядных революционеров может быть нарисован во всей их духовной красоте лишь воспоминаниями товарищей, близко знавших их.

Со смертью Тамары Принц и с исчезновением ее сподвижника Михаила Языкова у правительства не оставалось никаких нитей для раскрытия следов предполагавшегося террористического акта. Дело заглохло само по себе. Но вот 12-го октября 1906 года в Одессе был арестован нелегальный Сергей Бобров, оказавшийся в действительности членом партии с.-р. Н. Д. Шишмаревым. Жандармерия заподозрила в нем скрывшегося Мишу Языкова, проживавшего с Тамарой в гостиннице под именем Голубкина. Служащие гостинницы на очной ставке подтвердили сходство Шишмарева с проживавшим в гостиннице и скрывшимся Голубкиным; правительство думало, что в его руках находится настоящий участник неудавшегося покушения на Каульбарса. Началось следствие, не приведшее ни к каким результатам, и обвинение, пред'явленное Шишмареву, было прекращено.

Вот документы из дела Тамары Принц:

I.

Постановление.

23 декабря 1906 г., г. Одесса. Судебный следователь Одесского Окружного суда по важнейшим делам, рассмотрев обстоятельства настоящего дела, нашел:

28 июля 1906 г. около 5 с половиной часов вечера и. д. околодочного надзирателя Иван Лисьцкий, стоя на посту на Николаевском бульваре, против Петербургской гостинницы, услышал слабый с шипением звук со стороны гостинницы, в шагах ста от себя, и заметил на панели женщину, которая, идя по направлению к дворцу, занимаемому командующим войсками Одесского военного округа бароном Каульбарсом, в этот момент наклонилась и старалась поймать выпавший из ее рук черный мешочек—ридикюль; она быстро схватила его и, повернувшись обратно, вошла в ворота Петербургской гостинницы, откуда вышла. По словам служащих гостинницы, она вбежала в номер, который занимала с каким-то неизвестным мужчиной, и тут застрелилась.

Прибывшие власти застали женщину мертвой, на столе был найден конверт, а в нем лист бумаги. На конверте было написано: „Следователю по моему делу", на листе бумаги: „Убиваю командующего войсками барона Каульбарса по приговору боевого летучего отряда социалистов-максималистов. Тамара Принц". В стенах номера валялся в углу мешочек-ридикюль, а в нем разрывной снаряд.

По предложению прокурора судебный следователь приступил к следствию по этому делу по признакам преступления—преступного сообщества, организовавшего приготовления к убийству командующего войсками Одесского военного округа барона Каульбарса путем разрывного снаряда; впоследствии было предложено произвести исследование и по признакам 102 ст. Уг. Ул.

Предварительным по этому делу следствием установлено:

19-го июля в № 9 Петербургской гостинницы поселились Спасский мещанин Петр Семенов Голубкин и дочь генерал-лейтенанта Тамара Петровна Принц. Жили они скромно, не обращая на себя внимания прислуги и окружающих. Тамара Принц наводила справки о времени приема у командующего войсками барона Каульбарса и была им принята во дворце два раза; она об'ясняла генералу свое посещение желанием просить у него содействия предоставлением места ее жениху, фамилии которого не называла. Отца Тамары Принц барон Каульбарс знал, а сестра ее была подругой дочери барона, Екатерины Каульбарс, и бывала в доме Каульбарса во время службы барона в г. Варшаве, где служил и ее отец. Последний раз Тамара Принц была у барона Каульбарса в среду 26-го июля. Дней за 10 до происшествия барон Каульбарс получил по почте письмо со штемпелем „Варшава", анонимное, содержавшее угрозы лишить его жизни, если он не подаст в отставку.

Разрывной снаряд, что несла Тамара Принц в ридикюле, оказался бомбой огромной разрушительной силы, за-

пальное приспособление отсутствовало, так как взорвалось при падении снаряда на мостовую.

Судебным медицинским вскрытием трупа Тамары Принц установлено, что смерть ее произошла от сквозной раны сердца, причиненной выстрелом в упор из револьвера системы „Браунинг“; такой именно револьвер был найден в номере Принц близь ее трупа.

Личность человека, именовавшего себя Голубкиным, оставалась невыясненной, сведения, данные им о себе, оказались ложными.

22 декабря за № 14001 начальник жандарм. управления г. Одессы препроводил судебному следователю произведенное ротмистром Прутенским в порядке положения о государственной охране дознание о Николае Шишмареве. Из дознания этого видно, что 12 октября 1906 года был задержан некто, назвавшийся Сергеем Бобровым и пред'явивший паспорт на это имя; при обыске у него была найдена нелегальная литература; по задержании он заявил, что именуется Бобровым ложно и что он в действительности есть Николай Дмитриев Шишмарев, крестьянин Тверской губ. Личность Шишмарева установлена. Ротмистр Прутенский заподозрил в нем неизвестного человека, проживавшего с Тамарой Принц под именем Голубкина и пред'явленного служащим Петербургской гостинницы, при чем Елисей Порадовский признал у Шишмарева сходство с Голубкиным по жесту поглаживания бороды, Иван Петров нашел походку Шишмарева и фигуру похожую на Голубкина, Адам Сабельский признал в Шишмареве большое сходство с Голубкиным по походке, по манере держать себя, по выгибу ног и по жесту поглаживания бороды. Произведенной ротмистром Прутенским 4 декабря через экспертов-преподавателей графических искусств Прокофьева и Гончарова экспертизой сличения почерков, которым было написано анонимное письмо барону Каульбарсу, и почерком Шишмарева, категорически заключением установлено, что письмо анонимное написано Шишмаревым.

Приняв во внимание все вышеизложенное, судебный следователь нашел, что данными жандармского дознания Николай Шишмарев уличается в том, 1) что принял участие в сообществе, поставившем целью насильственное посягательство на изменение в России или какой-либо ее части установленного законами основного образа правления или порядка наследия престола, имевшем в своем распоряжении средства для взрыва, и 2) что, в качестве члена этого сообщества, задумав лишить жизни командующего войсками Одесского военного округа барона Каульбарса, он по соглашению с другим лицом, ныне умершим, привез для этой цели в город Одессу разрывной снаряд, который хранил в номере Петербургской гостинницы, но обстоятельства вос-

препятствовали приступить к совершению убийства, т.-е. в преступлении, предусмотренном 11 ч. 102 ст. Уг. Ул., 11 ч. 1457 ст. Улож. Зак. 9 февраля 1906 г., а потому постановил: Николая Шишмарева допросить по делу, как обвиняемого, пред'явив ему приведенное дознание.

Суд. Следователь (Подпись)

II.

Министерство
Внутренних Дел
ДЕПАРТАМЕНТ ПОЛИЦИИ.
По особому Отделу
14 декабря 1906 г.
№ 24581.

Секретно.

Судебному следователю Одесского Окружного суда по важнейшим делам.

На отношение от 3 августа с. г. за № 675 департамент полиции имеет честь уведомить ваше высокоблагородие, что дочь генерала-лейтенанта Тамара Петровна Принц известна департаменту полиции по близким сношениям с политически неблагонадежной семьей Савинковых, один из членов которой принимал участие в покушении на жизнь Севастопольского коменданта, генерала Неплюева, но лично Тамара Принц в качестве обвиняемой по делам политического характера не привлекалась. Тамара Принц действительно проживала вместе с сестрой и матерью в С.-Петербурге в д. № 134 по Фонтанке, отличалась вообще странностями и родные считали ее психопаткой. Личность сообщника Тамары Принц, назвавшегося крестьянином Голубкиным, осталась пока невыясненной, и к выяснению таковой принимаются меры. Фотографическая карточка при сем возвращается обратно.

За вице-директора (Подпись)
За заведывающего отделом (Подпись).

III.

Протокол.

1906 г. июля 31 дня, судебный следователь по важнейшим делам Одесского окружного суда, прибыв во дворец, занимаемый командующим войсками Одесского военного округа в присутствии прокурора суда Г.Г. Чаплинского, тов. прокурора Н. А. Сатинского, допрашивал нижепоименованных лиц с соблюдением 443 ст. Уст. Угол. Суд. в качестве свидетелей, и они показали:

Я, Александр Васильевич, барон Каульбарс, командующий войсками Одесского военного округа, 60 лет, лютеранин, на ваши вопросы об'являю: около 10 дней тому назад, в точности не помню, ад'ютант Натара доложил мне, что меня желает видет какая то девица. Я вошел в комнату,

где она находилась, и увидел молодую женщину, довольно бедно одетую. Она назвалась Тамарой Принц и спросила меня, припоминаю ли я ее и, что она знакома с моими дочерьми. Я взглянул на нее, но лицо ее было незнакомо. Она обратилась ко мне с просьбой принять ее в кабинете, так как она имеет ко мне частное дело. Я ее пригласил в кабинет, усадил на стул возле себя и спросил, в чем дело. Она мне рассказала, что она невеста сына полтавского помещика и свадьба ее зависит от того, получит ли ее жених место в Одессе, и потому она просит меня оказать ей в этом содействие. Я принял в ней участие, советовал составить для меня записку, в коей указать на тех лиц, от которых зависит дать жениху место. Разговор продолжался минут 15 и носил оттенок дружелюбия—я обещал помочь ей. Между прочим, в виде шутки я ее спросил—„не носит ли она при себе бомбы, чтобы меня убить“. Она засмеялась, но ничего не ответила. К концу разговора Принц сказала, что намерена уехать с женихом в Москву и едва ли удастся навести указанные мною справки. Я ее стал убеждать в необходимости остаться, поискать места и т. д.

Дня через 3—4 мне доложили, что в ад‘ютанской комнате находится та же Принц и желает меня видеть. Я вошел к ней и увидал Принц, сильно взволнованную. Она стала со мной говорить, я ввел ее в кабинет, усадил и спросил Принц, в чем дело, стал ее успокоивать и просил открыть мне, что случилось. Принц стала делать намеки, указывающие на намерение ее покончить с собой. Она уклонялась от об‘яснений, потом, вдруг, спросила меня, какого я мнения о самоубийцах. Я ответил ей, что я их презираю, что это признак малодушия, что нужно бороться с жизнью. Мои слова произвели на нее впечатление. Я, видя ее волнение, сказал, чтобы она обдумала свое положение, успокоилась и пришла бы ко мне завтра и именем покойного ее отца требовал, чтобы она дала слово, что придет завтра. Весь мой разговор носил характер сердечный, и она, видимо, была этим тронута. На следующий день Принц спрашивала по телефону, может ли она меня видеть, но я был занят и велел сказать, чтобы она пришла на следующий день, т.-е., в пятницу. Больше ничего я по сему делу не знаю, и Тамары Принц уже не видал. Она в разговоре говорила, что остановилась в Петербургской гостиннице, но о том, где живет жених ее, как то скрывала. Тамара Принц в нашем доме не бывала—сестра же ее была подругой моей дочери Екатерины. Отец ее генерал-лейтенант Принц жил в Варшаве. Покойную знают хорошо начальник артиллерии Гипиус, живущий на даче Оноприенко на Малом Фонтане, знает ее и все семейство, хорошо ротмистр пограничной стражи Басов, живущий в Одессе. Дней 10 тому назад я по почте получил пред‘являемое вам письмо со штемпелем

„Одесса, 19 июля“, в котором мне высказывается угроза и срок ее исполнения. Очевидно, это письмо имеет связь с самоубийством Принц и покушением на мою жизнь. Почерк этого письма мне совершенно незнаком.

Генерал от кавалерии барон Александр Васильевич Каульбарс.

Судебный следователь Вейтнов.
Прокурор Окружного Суда (подпись).
Товарищ прокурора (подпись).

Во всем деле неудачного покушения на Каульбарса особое внимание обращают на себя три момента, в которых нужно искать разгадки смерти Тамары Петровны Принц.

1. *Ласковый и любезный прием, оказанный бароном Каульбарсом Тамаре Принц, как дочери его старого друга.* Возможно, что это нарушило душевное равновесие террористки, поставив ее между молотом детства и связанных с ним воспоминаний, и наковальней настоящего, тесно спаянного с революционными идеалами, что и привело к роковому концу.

2. *Спокойствие Тамары Принц, отмеченное Розой Рабинович, видевшей ее незадолго до покушения и деловой характер письма, оставленного следователю.* Мог ли быть спокойным революционер, готовящийся к самоубийству, не исполнивший доверенного ему дела и тем самым становящийся изменником и трусом в глазах товарищей, с которыми был спаян крепчайшими узами? Мог ли революционер, готовящийся к смерти, если только он был искренним, а покойная была несомненно искренной, рисоваться и лгать перед собой, когда писала: „Убиваю командующего войсками барона Каульбарса“? Несомненно, что письмо было искренно и правдиво, ибо, неся смерть врагу и сама готовясь к смерти, революционерка не могла быть неискренней.

3. *Факт падения ридикюля с бомбой.* Здесь возможны два предположения: или бомба была уронена сознательно с целью взорвать себя, или это была неосторожность. Первое предположение недопустимо уже потому, что во-первых, если бы такое намерение было у Тамары, то она открыла бы предохранитель бомбы, который, как известно, был закрыт, а во вторых, революционер, кончая самоубийством по побуждениям высоко морального характера, вряд ли решился бы бросить бомбу на улице, где могли погибнуть и невинные люди, в то время когда ему доступны другие спо-

собы самоубийства. Кроме того, придя к сознанию о необходимости самоубийства и тем самым как бы добровольно отстраняя себя от революции, Тамара Принц не написала бы или уничтожила бы написанное ранее письмо, указывающее на ее связь с революционерами.

Нам думается другое: Тамара Принц, спокойная и уверенная в себе, твердым шагом шла на террористический акт, неся смертельный снаряд, который должен убить обоих— ее и Каульбарса. Вдруг, случайно выроненный, снаряд на глазах публики упал на панель, зашипел и привлек внимание околодочного Лисицкого. Что переживала в этот момент террористка, что должна была сделать?

Она видела дело погибшим, себя схваченной грязными руками шпионов и полицейских, избитой и опозоренной...

А сознание, что не смогла, не сумела выполнить великого дела, доверенного дорогими людьми—холодом сжало сердце... Ведь повторить попытку покушения сейчас не было возможности, так как запальник от бомбы сгорел и снаряд, таким образом, оказался негодным. Мысленно, быть может, видела лица близких товарищей, недоверчиво качавших головой, и не находила в их взглядах оправдания...

Что делать? Как поправить дело?

И мятущаяся душа подсказала самоубийство.

Торопливыми шагами направилась в гостинницу и, чуть не на глазах других, револьверным выстрелом оборвала молодую жизнь, полную надежд и великих порывов.

Жуковский-Жук.



Голобородько.

Лукьяновская тюрьма в Киеве в 1906—1907 г. г. сильно пополнялась арестованными, обвинявшимися по 279 ст. Многие из судившихся по этой статье были приговорены к смертной казни и повешены. Их было в то время много: молодых, солидных, интересных и неитересных, веселых и мрачных. Были такие, которые знали, за что умирают, и были такие, которые даже не знали, за что их судят, но я всех забыл, забыл имена, фамилии и их черты лица. Но только черты лица, ужимки и жесты полуребенка Голобородько, казака из Полтавской губ., я никак не могу забыть. Его черты лица мне так врезались в память, что если бы я был художником, я безошибочно мог бы его нарисовать. Помню его большие, голубые глаза, тонкие черты лица с вечной улыбкой на устах. Худенький, с пискливым детским голосом, ему было 17—18 лет, он выглядел 15-ти летним мальчиком. С первых дней пребывания в тюрьме он сразу завоевал общие симпатии и сделался любимцем не только своей камеры, но и всего корридора. Все на перебой с ним занимались: тот по языкам, тот по математике, а кто-то с ним разбирал „Капитал"—Маркса, и все восхищались его прилежностью и рвению к знаниям. Я, как его однолетка, с ним близко сошелся. Он мне рассказал о своей семье, об их мытарствах (его отец в это же время сидел в Полтавской тюрьме за агитацию среди крестьян, один из братьев сидел в Лубнах за аграрные безпорядки, а другой где-то скрывался) и об их партийной работе. Вся семья принадлежала к партии с.-р. и были одними из активнейших работников среди крестьян Полтавского округа. Рассказал он мне и о покушении на урядника, в котором он обвинялся, и из его рассказа оказалось, что не он на него покушался, а его старший брат, который теперь скрывается, но урядник или перепутал, приняв его за брата, или же вообще хотел мстить ему за брата, и указал на него, как виновника покушения. Сам он решил на суде никого не разубеждать в его непри-

частности к покушению и был почему-то уверен, что мол сами разберутся и оправдают. Помню его возвращение из суда, и на вопрос „ну, как?“, он ответил жестом рукой, что мол присудили его к повешению. Я помню, какое впечатление произвел на нас его приговор, и никто и верить не хотел, что его, полуребенка не только по летам, но и по виду, приговорят к повешению. Это казалось нам вначале невозможным, и все с уверенностью говорили, что его помилуют, и что палач—и тот откажется его вешать, и эта уверенность передавалась и Голобородько, который до последней минуты сам не верил в свою казнь. Из его записок, которые я получил, не чувствовалось, что мысль о казни тревожит его, наоборот он готовился к жизни, усиленно занимался, много читал, и делился впечатлениями со мною о прочитанном. У меня к сожалению его стихотворения не сохранились (грешил, конечно, как и мы все, стихоплетством), но в голове у меня осталось несколько стихов, хочу их здесь привести:

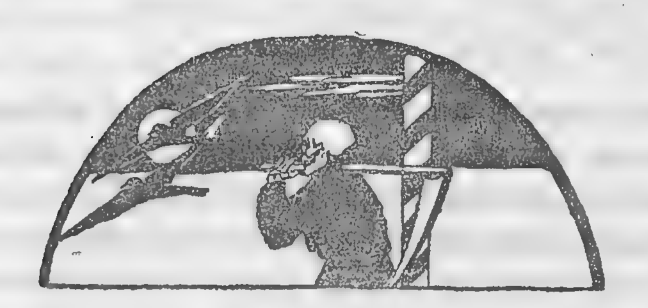
„Сердце до боли ноет тоскливо:
Умри—назойливо мысль твердит,
Но тело, вздрагивая трусливо,
Как будто кричит—буду жить;
Зачем, когда ночь без просвета,
Когда и жизнь, как ночь темна?
Жить! жить! —дождусь и света,
Ночь пройдет, она не вечна“.

Однажды, после перевода его из нашего корридора в корпус—в отлетку (камера для смертников), его проводили в контору, как видно, нарочно днем и во время нашей прогулки, чтобы не возбудить подозрения ни у него, ни у заключенных. Мы с ним наспех разговорились. В это время к нам подошел один товарищ (то был журналист Лоло—я ему до сих пор никак не могу простить его шутку) и шутя спросил его: „тебя скоро повесят?“ на что Голобородько ответил, „они меня не повесят, я маленький“. Больше я его не видел, его, как видно, в этот же день перевели на Лысую гору. После обструкции, устроенной тюрьмой, а равно ранений, нанесенных палачу товарищем Юдко, они не решились больше вешать в стенах тюрьмы, как они это проделали ранее с первой казнью, т. е. первой со дня об‘явления манифеста, и вот почин на Лысой

Горе начали с Голобородько. О его казни мы узнали лишь на другой день, узнали от тюремного доктора, присутствовавшего на казни. От него же мы узнали, кто был палачем этого ребенка, и как стойко он себя держал: перед одеванием мешка или савана он попросил папиросу, выкурил ее и закричал: „ну, палачи, к делу“. Помощнику начальника тюрьмы Бутвиновскому он шутя сказал: „у вас нос побелел от страха“, и когда палач его поставил на возвышенность, он его ударил ногой... Палачем оказался наш корридорный, который в день увода Голобородько исчез, и больше мы его не видали. Этим палачем был бывший офицер, интеллигент, которого наш староста Леон Гуревич выпросил у администрации в качестве корридорного. Характерно отметить, что никто из уголовных не отважился стать палачем, и даже знаменитый хулиган, Васька Григорьев, осужденный на каторгу за убийство во время Киевского погрома, и тот отказался из чувства ли тюремной этики, или из боязни после урока, полученного первым палачем от т. Юдко, а этот мерзавец не побрезгал за 25 руб. казнить ребенка.

10-го мая 1925.

С. Полонский.



Всеволод Борисович Яковлев.

Он умер еще совсем молодым и юным. Ему было только 22 года, когда петля палача оборвала жизнь юноши, безкорыстно преданного делу трудового народа и идеалам социальной революции. Смерть он встретил мужественно и просто, как просто и мужественно прожил свою короткую, несложную, но богатую возможностями, жизнь.

Всеволод Борисович Яковлев родился в городе Киеве 9-го сентября 1885 года в семье учителя гимназии. В детстве это был болезненный, хилый и слабый ребенок, доставлявший много забот и печалей родителям своим плохим состоянием здоровья. С пяти лет он начал кое-как поправляться и развиваться. Физически окрепший, но робкий по характеру, он чуждался бурных игр и шумной товарищеской среды. Настоящий маленький домосед, он большую часть своего времени проводил дома за чтением книжек, которые, повидимому, давали огромное удовлетворение его замкнутой натуре.

Отличительной чертой натуры Всеволода была мягкость и жалость к несчастным, больным, калекам, как к людям, так и животным. Если он находил где-либо на улице больную кошку или искалеченную собаченку, он тащил ее домой, устраивал в укромном уголке, пряча от родных, кормил, лечил, и ухаживал, как заботливая нянька, до тех пор, пока искалеченное животное не поправлялось. В доме, таким образом, перебывало много таких животных, которым Всеволод покровительствовал и прятал от глаз старших, боясь, что их выбросят на двор.

Его домоседство служило часто темой для шуток братьев, которые смеясь говорили, что Всеволоду летняя фуражка не нужна, так как он все равно из дому никуда не выходит. И действительно, он словно боялся улицы, дичился ее и, если выходил, то только в обществе братьев.

Так продолжалось до 14 лет, когда характер его вдруг резко изменился. Из нелюдимого, замкнутого мальчика, он превратился в живого общительного юношу,—любознательного и пытливого. Эта перемена в его характере совпала со следующим обстоятельством.

Однажды в соседнем с Яковлевыми доме случился огромный пожар. Была полночь. Встревоженные, полусонные люди. спешили к месту несчастья и в этой толпе очутился и Василий, бежавший на зарево пожара.



В. Б. Яковлев.

После этой тревожной ночи в его душе произошла какая-то перемена: он перестал чуждаться улицы и сделался общительным. Мать не узнавала своего сына—настолько резко изменился его характер. У него завелись теперь друзья и товарищи, но его всегда почему то тянуло к детям из бедных семей. С этими друзıями он делился последним: отдавал второй костюм, лишнюю смену белья и вообще все, что только мог. Собственнический инстинкт и привязанность к вещам—у него совершенно отсутствовали.

Даже в детстве эгоистических наклонностей у него не наблюдали. Он делился с братьями и товарищами самыми красивыми игрушками и книжками.

Подаренную ему книжку он прочитывал с жадностью, с большим интересом, и вскоре же отдавал ее товарищу, говоря: „возьми, мне не нужно". За такую „расточительность" и равнодушное отношение к вещам Всеволоду нередко попадало от родных. Его наказывали, но он оставался неисправим. Для полноты его характеристики не лишне привести один факт из его юношеских лет.

По соседству с Яковлевым жил портной, у которого в ученьи был мальчик. Не сладка была жизнь мальчика на побегушках: портной его плохо кормил, плохо одевал, употреблял для разных своих услуг и больше приучал к колотушкам, чем к портняжеству. Всеволод сдружился с мальчиком, начал таскать ему булки и другие лакомые куски и всячески подкармливал его. Затем, сговорившись с мальчиком, переселил его к себе тайком на чердак. Разумеется, все это было обставлено в строжайшей тайне. Через некоторое время он снабдил своего друга костюмом, одеялом и подушкой и с помощью нескольких товарищей отправил его на родину. Только через две недели мать Всеволода заметила отсутствие костюма и постели, и когда по доносу портного, подозревавшего Яковлевых в укрывательстве мальчика, в дом явилась полиция с обыском,—беглеца и след простыл.

Не смотря на тихий и, казалось, ровный характер, душа у Всеволода была мятущаяся и впечатлительная. Он болезненно и остро реагировал на все жизненные явления, как личного, так и общественного характера. Никакое горе, страдание, несправедливость не проходили мимо, не затронув его душевных струн, и не вызвав в них ответного отклика.

Всеволод посещал гимназию, но казенная наука с ее педантами—учителями и формализмом была ему не по душе. Хотелось чего-то другого, более живого и осмысленного, и металась юношеская душа в поисках неизвестного, но ласково манящего и согревающего огонька. Дойдя до 6-го класса гимназии, он решил бросить занятия и перевестись в мореходное училище в Ростове на Дону. Его манила жизнь моряков, вечное странствование по далеким странам,

по бурным морям, где все и всегда ново и разнообразно. Ему казалось вместе с тем, что в мореходных классах больше вольности и осмысленности.

Но для того, чтобы поступить туда, необходимо было выдержать практическое плавание. И вот Яковлев в 1903 году поступает на пароход „Черномор“ и отправляется в плавание. Нашел ли он в этом душевное удовлетворение— не знаю, но этот период его жизни совпал, как раз, с наступающим революционным движением. Стали вспыхивать одна за другой забастовки. Во время одной из таких железнодорожных забастовок матросы парохода, где служил Яковлев, примкнули вместе с ним к забастовке. Сильное товарищеское чувство, солидарность и потребность активного протеста против произвола и обиды толкали Всеволода к действенности. В результате всего с парохода его прогнали.

В мореходном училище его ждало еще большее разочарование: он не нашел там того, чего искал и ждал. Тот же сухой педантизм, та же казенщина с еще большей муштровкой, действовали отталкивающе и подготовляли почву в его душе для революционного настроения...

Подошел 1905 год. Бастовали рабочие, бунтовали матросы и солдаты, крестьяне жгли помещичьи усадьбы. Страна напоминала кипящий котел. Все волновалось, рвало цепи, стремилось к обновлению, к свободе. Не было в России города, где бы революция в той или иной форме не выявила своей могучей стихии. Разумеется, революционная волна захватила и Ростов. Крупный рабочий центр не мог стоять в стороне от освободительной борьбы: рабочие из предместья Темерник подняли вооруженное восстание, и город покрылся баррикадами. Запахло порохом и кровью.

Яковлев со всем юношеским энтузиазмом принял участие в баррикадной борьбе, сражаясь с правительственными войсками. Он не был плохим бойцом, шел в опасные места и в одной из уличных схваток был ранен в руку. Когда наступило „успокоение“ и училищное начальство узнало о подвигах Яковлева,—его исключили из мореходной школы, и в марте 1906 г. он уехал в Киев, где и прожил у матери до августа месяца.

В этот период в партии социалистов - революционеров, к которой принадлежал Яковлев, развилось и окрепло революционное течение—максимализм. Всеволод примкнул к мак-

сималистам и вошел в самую гущу революционного боевизма. С этих пор он почти не жил дома. Постоянно занятый боевой организаторской работой, он только проездом через Киев иногда забегал навестить родной дом и повидаться с матерью. Последний раз мать его видела на свободе в январе 1907 года, когда он, спеша на какой-то революционный акт, заехал к ней.

К сожалению, у нас нет подробных сведений об этом периоде жизни Яковлева, о его революционной работе, но судя по дальнейшему, видно, что он не сидел сложа руки.

Главной базой своей революционной деятельности он избрал Ростов на Дону, где был известен в подпольных кругах под именем „Максима". Здесь он имел обширные связи с рабочими и учащейся молодежью, среди которых пользовался любовью и авторитетом. Он был одним из активных организаторов местной группы „максималистов", из которой впоследствии вышли видные революционеры, как, например, Алексей Богданов и Онуфрий Музычук, казненный за террористический акт на помощника начальника Ростовской тюрьмы Щербакова, и др.

Неутомимый, энергичный, способный организатор, Всеволод был фактически руководителем группы во всех областях ее деятельности. Он занимался пропагандой среди рабочих на Темернике, участвовал в устройстве тайной, хорошо оборудованной типографии, где печатались все прокламации и воззвания Донского Союза с.-р. максималистов, организовал несколько террористических актов и т. д.

В самый расцвет своей революционной деятельности Яковлев был арестован по указанию проникшего в группу провокатора Михаила Бобровского. Поддерживая тесную связь с максималистами и принимая участие в их работе, он в тоже время осведомлял полицию. Так, дня за 2 до убийства тюремщика Щербакова, Бобровский послал начальнику тюрьмы письмо за подписью „А. Б.", в котором извещал его о „замыслах максималистов". В тот же день провокатор послал вторичное письмо, извещая начальника, что за его помощником Щербаковым революционеры уже следят. Затем отправился лично к начальнику тюрьмы, рассказал ему подробно о деятельности террористов и с письмом последнего отправился к впоследствии убитому Петровым начальнику охранного отделения, „знаменитому" полковнику

Карпову, которому и сообщил все, что знал о деятельности группы.

Несмотря, однако, на предательство Бобровского, Щербаков был убит 8-го апреля 1907 года Онуфрием Музычуком, который был тут же арестован, предан военно-полевому суду и приговорен к смертной казни. В связи с этим делом 10-го апреля местная группа максималистов выпустила в виде прокламации „К обществу“ письмо Музычука перед казнью, отрывки из которого я считаю необходимым привести здесь:

— „...Я казнил Щербакова, помощника начальника Ростовской тюрьмы, казнил его по постановлению Донского Комитета Союза с.-р. максималистов, казнил, как палача, насильника и убийцу... завтра меня расстреляют... Вы, вы, сытые, вы спокойные, вы счастливые... вели вы постыдные переговоры с правительством Столыпина, правительством виселиц и расстрелов. Зверю императору Николаю - кровавому клялись ваши представители в зале Таврического дворца в верности, ему, затопившему всю Россию кровью наших братьев, принимали вы присягу“...

Арест Всеволода Яковлева произошел 19 апреля 1907 года, через 10 дней после казни Музычука.

Утром в комнату, где спал Яковлев, ворвалась полиция и произвела обыск. В одном из свертков, лежавших на окне, полиция обнаружила паспорт на имя крестьянина Петра Шаповалова, выданный Кременским волостным правлением и 48 подписных листов со следующим текстом: „Союз социалистов-революционеров максималистов. Борьба за право на полный продукт труда. Подписной лист для сбора пожертвований на нужды организации“.

На вопрос околоточного, производившего обыск, чье-это, Яковлев ответил, что сверток принадлежит ему, а сам он принадлежит к Союзу с.-р. максималистов, который существует в Ростове уже несколько месяцев. Его заключили в Ростовскую тюрьму. Будучи вызван вторично на допрос, он отказался дать какие-то ни было показания и только подтвердил свою принадлежность к революционной группе.

Казнь Музычука и арест Яковлева нанесли серьезный удар организации, но эти неудачи не сломили энергию Яковлева и не поколебали его веры в революцию. Он и в тюрьме не сидел без дела. Вел деятельную переписку с то-

варищами, оставшимися на воле, указывая им, что нужно сделать в первую очередь, каковы насущные задачи момента и т. д. Он же написал первомайскую прокламацию, которую передал на волю для напечатания.

Как только предательская роль Бобровского обнаружилась и стала известна товарищам, группа, снесшись с Яковлевым в тюрьме, выпустила следующее воззвание: „Донской комитет с.-р.-максималистов извещает товарищей по революционной организации, что бывший член местной организации максималистов Михаил Бобровский—провокатор и является виновником апрельских арестов, выдавший в руки жандармской полиции члена Донского Комитета с.-р.-м. товарища „Максима“ (Яковлева)“.

Судьба Всеволода была как бы предрешена заранее. Его прошлая революционная деятельность, а также и то влияние, которое он оказывал на товарищей, находившихся на воле, были известны местным властям, и они считали Яковлева хорошей добычей.

Между тем он усиленно готовился к предстоящему суду. В письмах к родным он просит прислать ему все брошюры максималистов, которые помогли бы ему обосновать свою речь на суде. Свою просьбу о присылке максималистских брошюр он повторяет в каждом письме и к брату, и к матери.

— „Мама, пишет он, я жив, здоров. Книги еще не получил. Все за следователем сижу. Обвинительный акт, думаю, получу в марте. Тогда и извещу Вас. О защитнике и не думайте. И, пожалуста, без хлопот и просьб за меня!. Напрасно не привезла с собой ты журнал какой-нибудь за этот год. Его бы пропустили и я все-таки, хоть задним числом, знал бы, что на свете творится. Ну целую тебя, папу и братьев. Поклон В. А. и жене его.“ Всеволод.

В другом письме к ней же он сообщает:

— „Мама, следствие закончено, и я уже за товарищем прокурора. Пред‘явили мне следующие статьи: 126-ю, 102-ю, 257-ю, 1453-ю, 1454. Думаю, что суд будет в мае. Сижу сейчас и, кажется, буду сидеть до суда в Ростове. Опять напоминаю Вам о книгах. Мне нужны брошюры по нашей литературе: Тагин — „Принципы трудовой теории“, его же „Ответ Виктору Чернову“, С. Максимов—„Сущность максимализма“ и какую-нибудь брошюру по аграрному вопросу

соц.-народническую. Лучшую из них, как кажется, я считаю издание Сеятель—„Аграрный вопрос в программах социалистических партий“ Зорина. Эти брошюры пришли непременно скорее. Мне они нужны теперь же. Я здоров вполне. Поклон всем знакомым. Поцелуй отца и братьев“.

В. Яковлев.

„Эти брошюры программные, и потому нужны мне до мая“.

Всеволод Борисович полагал, что его будут судить в мае месяце, и поэтому торопил мать с присылкой указанных брошюр; по ним хотел он построить свою речь. С этой же просьбой он обращается к брату Глебу:

— „Милый Белка, если бы ты и не писал, что 21-го венчался, я бы понял по тону письма. Так пишут только через неделю после свадьбы. Во-первых, это имя жены?. Хочу поздравить и тебя и ее, а не знаю, как величать. А еще,— с каких пор русская, а не еврейка? Так у тебя в письме. Чудак! Ну, от души поздравляю, желаю и т. д. Я сижу в Ростове до мая-июня наверное. Статьи пред‘явлены и следствие кончено. (126, 102, 1453, 1454). Плохо брат! Суд—в начале лета. Книги непременно пришли. И Дарвина и Бельтова. И новых пришли. Именно (из нашей литературы) Тагин „Принципы трудовой теории“, его же „Ответ Виктору Чернову“ и две брошюры Светлова и Энгельгарта „Задачи момента“ и „Задачи грядущего“, и Лозинского „Итоги парламентаризма“. „Наши“ книги—непременно. Я защитника не возьму, а говорить буду много.“ В. Яковлев.

Месяца за полтора до суда Всеволода увезли в Новочеркасск, где он должен был судиться выездной сессией Одесского военно-окружного суда. В день от‘езда он пишет брату:

— „Дорогой Глеб, второго суд. Сегодня иду в Новочеркасск. Спокоен, силен и бодр. Встретишь когда-нибудь Леонида Андреева,—скажи, что он дурак. От моего имени.... За „Рассказ о семи повешенных“. Иначе мы умираем и готовимся умирать, мы—вчерашние обыватели.

Проще и лучше! Только „парашей“ больше пахнет. У него ее не слышно.

Целую тебя крепко. Поклон жене.....Племянницу поцелуй—однако, ты скоро..... Преуспевай на этом поприще!.

Просьба одна: быть может, к тебе обратится за чем либо одна девушка из Архангельска—Варвара Влади-

ровна Балалыкина,—это моя „любовь". Отнесись подобающе. Сообщи эту фамилию и маме. Ей писать нет времени. Получил письмецо твое. Книги получил. Напиши ростовскому тов. прокурора, спроси, почему не пропускает Е. Лозинского? Пусть хоть вернет их тебе. Ты же перешли в Новочеркасск, если узнаешь, что я жив. Твой брат Всеволод".

Часть просимых Всеволодом книг, в частности книги Е. Лозинского, прокуратура задержала. Он напоминает в письме к брату получить эти книги у прокурора и переслать в Новочеркасск.

От защиты на суде—Яковлев отказался, решив выступить перед судом с речью, излагающей, как теоретические, так и практические задачи и цели максимализма. Даже в ожидании смерти, явно грозившей ему, он не заботится о себе. Ему хотелось даже суд использовать только в интересах революции, только в интересах дорогих ему идей—революционного освобождения трудящихся. Он до конца остался верен себе.

Из девяти человек, представших перед военным судом —двое: Яковлев и Богданов были приговорены к смертной казни. Они выслушали приговор спокойно.

Казни ожидали несколько дней, и все эти дни Всеволод был совершенно спокоен. Может быть, за час до казни он написал прощальное письмо матери на небольшом клочке бумаги торопливым, дрожащим почерком:

„Киев, Жилянская 63.

Корнелии Георгиевне Яковлевой.

Мама, пишу тебе перед казнью, в конторе. Прошу в последний раз простить меня за то, что не дал Вам ничего, кроме горя.

Поцелуй отца и братьев.

За почерк прости. Со сна...и холодно...Спокоен и бодр. Всеволод.

Передай мой поцелуй Юле."

Из этого жуткого человеческого документа видно, что Яковлев не боялся казни, и если при писании письма рука у него дрожала, то, разумеется, не от страха, а от охватившего холода декабрьской ночи и того внутреннего необ'яснимого волнения, которое овладевает в такие минуты человеком.

Казнь произошла в ночь с 7-го на 8-е декабря 1908

года. Газета „Бессарабская жизнь“ сообщает, что когда осужденных, закованных в ручные и ножные кандалы вывели в тюремный корридор, то Яковлев достал тщательно спрятанный перочинный ножик и нанес себе сильную рану в грудь с целью самоубийства. Рана оказалась не опасной, и их повели дальше. На тюремном дворе, когда приближались к эшафоту, Яковлев поднял ручные кандалы, будто-бы намереваясь поправить шапку, и со всего размаха ударил ими по голове сопровождавшего их тюремщика и причинил ему тяжкие раны.

По словам политических заключенных, сидевших в то время в Новочеркасске, Всеволод умер на эшафоте мужественно и просто.

Жуковский-Жук.



К. П. Берзин (Лацис).

Тов. Карл Петрович Берзин родился в 1879 году в семье бедного латышского крестьянина. С 11-ти летнего возраста уже работал в качестве сельского батрака. В 1898 г. он уехал в Ригу, где за случайное участие в революцион-



К. П. Берзин.

ном выступлении рабочих попал на 2 недели ареста при полицейском участке. Вскоре после этого он вступил в нелегальный кружек по изучению марксизма. В 1902 году он приехал в г. Тукум и поступил на службу на Риго-Орловскую железную дорогу, где уже была небольшая ячейка Латышской Социал-демократической Рабочей Партии. Т. Берзин вступил в эту ячейку, и с этого времени началась его подпольная революционная работа.

В 1905 году с немногими тукумскими товарищами он участвует в демонстрации в г. Риге у железнодорожного моста. В конце ноября и начале декабря 1905 г. принимает активное участие в Тукумском восстании, во время которого был уничтожен целый отряд царских драгунн с подполковником Мюлером во главе. За участие в этом восстании т. Берзин был осужден царским судом на 15 лет каторги. В каторге он пробыл 12 лет и в 1917 году был освобожден Февральской Революцией.

Вскоре после освобождения тов. Берзин был отправлен на Рижский фронт, но в виду плохого состояния здоровья был освобожден от фронтовой службы и назначен начальником IV района милиции. После отступления войск временного правительства он остался в Риге для подпольной работы в группе „Спартаковцев", и занимался организацией боевых дружин и снабжением их оружием. В 1919 году он руководил выступлением боевых дружин против германских „железных батальонов" и латвийских белогвардейцев. За 4 часа до прибытия красных войск город был уже в руках боевых дружин. Сформировавшимся в Риге революционным комитетом тов. Берзин был назначен начальником красной милиции, в каковой должности пробыл до 22 мая 1919 года.

После сдачи Риги т. Берзин уехал в Киев и поступил в Управление Особого Отдела Украины. В 1920 году он перешел в О.О. XII Армии, а в 1921 году был переведен в О.О. К.В.О. С 1922 по 1923 год служил в П.П. Г.П.У. С 1923 до 1924 года по день трагической своей смерти заведывал сельхозом Киевского Отделения О-ва Политкаторжан.

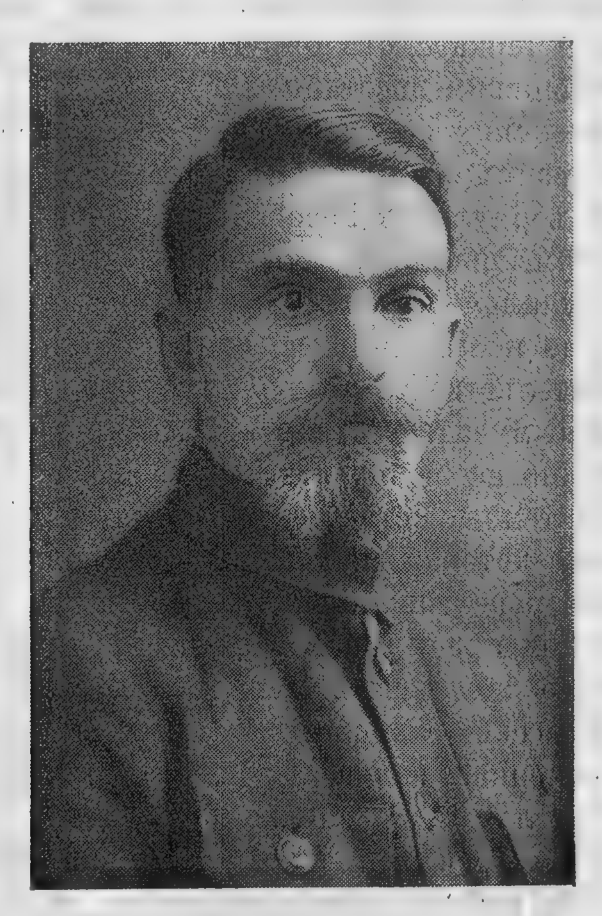
В лице т. Березина мы потеряли человека, беззаветно преданного делу революции, и личность, отличительными свойствами которой были самоотверженность, скромность и полное бескорыстие.

С. М.

М. Н. Голод.

25-го октября внезапно и преждевременно скончался член Общества полит. каторжан и ссыльно-поселенцев, столяр по профессии, Мейер Нухимович Голод.

Страшно поразила нас, киевлян, неожиданная смерть старого товарища и борца, который лучшие свои силы отдал на борьбу с диким произволом царизма.



М. Н. Голод.

Товарищ Голод родился в 1874 году в Киеве, в бедной рабочей семье. Бесправное положение, в котором пребывало население широких просторов „Российской империи", он испытал на себе, в особенности как еврей, уже в молодости. Возмущение и протест против угнетения и сознание своего социального положения привели т. Голода в ряды РСДРП, в которую он вступил в 1901 г. Он стал „искровцем", чтобы понести искру борьбы в широкие рабочие массы, чтобы зажечь их на революционное выступление против угнетателей —эксплоататоров.

Товарищ Голод боролся как словом, так и делом. Заготовленное оружие против насильников, типография, которая тайно выпускала короткие, но правдивые горячие слова к трудящимся,—все это перебывало на хранении у тов. Голода, все это поручала ему, как преданному делу товарищу, организация.

Долго и стойко вел нелегальную работу тов. Голод, умея обходить жандармские тенета. Свою революционную подпольную работу т. Голод вел, главным образом, в рабочих районах Черкасского округа. В 1905 году он руководил золотоношским восстанием.

От полицейских преследований тов. Голод должен был скрыться за границу. Там он жил в Вене и во Львове. В 1908 году он вернулся в Россию, и в 1909 году царские слуги—жандармы поймали тов. Голода. Он был арестован в Полтаве, судился выездной сессией Киевского военно-окружного суда и был приговорен к смертной казни. Но царское правительство не хотело сразу задушить тов. Голода, а решило мучить его всю его жизнь и заменило ему смертную казнь на вечную каторгу. Тогда и заключили тов. Голода в темные страшные казематы Шлиссельбургской крепости, которая похоронила в своих подземельях не одну сотню революционеров. Четыре года в этих казематах тов. Голод пробыл закованный в ручные и ножные кандалы. Всего же девять лет терпел муки тов. Голод в шлиссельбургских каменных мешках, и только в 1917 году, когда огненная волна революции разлилась по безграничным землям „Российской империи“, тов. Голод вместе с другими революционерами увидел свет, вышел на волю и стал на работу по строительству государства трудящихся, за идею которого он так долго и так много страдал.

Он ушел в Красную армию, где провел около семи лет, борясь на разных фронтах. А затем перешел на хозяйственную работу и был в то же время активным членом общества полит. каторжан.

Но шлиссельбургские казематы даром не прошли,—не сломали они воли тов. Голода, но попортили ту сложную машинку человеческую, которая сердцем зовется, и она неожиданно, вдруг перестала работать—тов. Голода не стало...

Д.

Новые книги.

„Южно-русские рабочие союзы“ под редакцией В. В. Максакова и В. И. Невского.
Изд. Центроархива, цена 3 р. 50 к.

Русское революционно-социалистическое движение началось среди интеллигенции, главным образом, среди молодежи.

Чуткая совесть молодости будила, тревожила, не давала спокойно жить, наслаждаться и пользоваться материальными и культурными благами при господствовавшей нищете, при безбрежном море страданий и бесправия народных масс; пользоваться благами, добытыми кровью и потом народа, который сам ими не мог даже пользоваться. Пробудившийся голос совести не только не давал продолжать свою спокойную благополучную жизнь при бедственном и жалком прозябании так называемых низших классов, но он повелительно требовал „возвратить долг народу“.

Эта же молодежь оставляла дом, часто очень богатый, семью, часто очень любимую; отказывалась от карьеры, часто весьма блестящей; и в атмосфере верноподданнической преданности самодержавному строю, в среде отсталой и культурно, и экономически, и политически, среди забитого и почти поголовно безграмотного народа, она пошла в этот самый народ, чтобы поднять его на борьбу за свое освобождение и за устроение жизни на новых началах, на началах социализма.

Состоя из представителей всех классов и состояний, пропаганду своих идей она начала вести тоже во всех слоях общества, не ограничивая своей деятельности каким-нибудь определенным классом. Но в чисто крестьянской стране, где и в настоящее время рабочее население незначительно, и классовое его самосознание развито слабо, революционная мысль сосредоточилась, но не замкнулась на крестьянстве. Так в 1871 году чайковцы уже вели пропаганду среди рабочих, а через год—два она приняла уж значительные размеры.

Если не для большинства, то во всяком случае для значительной части рабочих, численность которых по тогдашнему состоянию промышленности была не велика, работа на фабриках и заводах была лишь отхожим промыслом. Работая на фабрике, такой крестьянин—рабочий сознавал, что он только временно оставил свое настоящее дело. Работая в городе, он чувствовал, что его интересы связаны не с городом, а с деревней, куда он отсылал часть своих заработков, куда он стремился вернуться.

Рабочие того времени (даже подлинные рабочие, а не только крестьяне—рабочие) не осознавали еще особенностей своего существования, своей работы, не осознавали в себе отдельного класса, и рабочая среда не понимала еще необходимости образования союзов, организаций самозащиты, самопомощи и борьбы.

И образование Заславским в Одессе „Южно-российского Союза Рабочих", о чем рассказывает в первом очерке названной выше книги В-К-ов, в истории рабочего движения является огромным шагом вперед и должно считаться фактом большой важности. Число членов Союза достигло 200 человек.

Устав указывает следующие цели Союза:

Во-первых: пропаганду идеи освобождения рабочих изпод гнета капитала и привиллегированных классов.

Во-вторых: Об'единение рабочих Южно-российского края.

В-третьих: для будущей борьбы с установившимся экономическим и политическим порядком.

При обсуждении последнего пункта Заславский, по словам Сквери, одного из членов Союза, внес предложение исключить слово „политический".

Заславский, как народник, не мог не внести такого предложения, оно неизбежно вытекало из тогдашних убеждений народников. Они считали, что борьба за политические свободы вредна: она будет отвлекать силы, а в случае успеха конституция послужит к усилению положения и влияния буржуазии.

Идею вредности политической борьбы некоторое время проповедовала впоследствии и другая социалистическая партия, русская партия социал-демократов.

История образования Щедриным и Ковальской в 1880 г.

в Киеве Союза Рабочих рассказана в статье: Южно-русский рабочий союз" Е. Н. Ковальскою.

Прошло всего несколько лет от времени образования Союза в Одессе. Но в эти немногие годы революционное движение успело пройти несколько этапов. Распространяясь и углубляясь, оно доказало революционерам, что народ, забитый непосильным трудом и нищетой, политически порабощенный, культурно темный, нелегко может быть поднят на борьбу за свое освобождение, что мирная пропаганда чрезвычайно затруднена и по причинам полицейского характера и по темноте и безграмотности тех, для кого главным образом пропагандистская литература должна была предназе начаться.

Доказательство это стоило участвовавшим в народническом движении очень дорого; оно потребовало многих жертв и страданий, но опыт нескольких лет вывел русское революционное движение на новый путь, он указал на необходимость политической борьбы, при том борьбы с оружием в руках. Правда, этот путь привел к еще более кровавым жертвам. Правда, этот способ борьбы сделал ее более жестокой и вызвал ужаснейшие репрессии против тех партий, которые применяли террор. Но вместе с тем он придал русскому революционному движению в общем и целом (без разделения его по партиям) ту силу, то напряжение, которые довели революционное движение в России до победы.

В этой заметке не место распространяться на эту тему. Позволю себе только для иллюстрации высказанной мысли сослаться на один пример.

Социал-демократическая партия Германии по количеству своих членов, по организованности, по дисциплине занимала первое место в ряду социал-демократических партий Европы. Общий высокий культурный уровень рабочей массы, во главе ея часто стояли выдающиеся люди, вышедшие из этого же класса, в партии работали выдающиеся теоретики-марксисты, сама численность настоящего класса рабочих значительная. Но жить этой партии приходилось в других условиях: не было там такого политического гнета, как в России, и экономическое положение германского рабочего было гораздо лучше положения русского рабочего. Условия жизни, следовательно, не вынуждали германскую партию прибегать к крайним мерам, не заставляли ее вести борьбу

с тем напряжением, когда борьба прекращается или гибелью или победой.

Вот германские социал-демократы и стали ждать дальнейшего развития капиталистического строя: роста концентраций промышленности с одной стороны и пролетаризации населения с другой; с увеличением пролетарских масс, с увеличением пролетарских голосов социал-демократические фракции в парламентах германских государств и в рейхстаге будут обладать большинством голосов, и тогда...

Пожелаем германским рабочим не ждать этого „тогда“. Контр-революционный характер германской социал-демократии станет особенно ярок, если обратить внимание на ее отношение к русской революции со времени Брестского мира по настоящий день и на ея действии внутри самой Германии после ея разгрома, внешнее и внутреннее положение которой было очень сходны с положением России в первые времена после революции.

Русское освободительное движение не могло ждать этого „тогда“, оно должно было заглохнуть, как движение революционное, или пойти путем действительной борьбы.

Щедрин и Ковальская, ставя в своей программе на первый план необходимость изменения экономических отношений, а политические-де изменения являются следствием экономических, указывая рабочим, что они „должны опираться почти исключительно на свои собственные и силы крестьянства, а отчасти на те фракции социально-революционной партии, деятельность которых направляется к экономическому перевороту“,—Щедрин и Ковальская по своим воззрениям не примкнули к партии „Народной Воли“, но, как подлинные революционеры, как люди действия, они не остались и в „Черном Переделе“. Приступая к организации союза рабочих, они должны были признать лучшим и действительным для этого средством—террор, при чем на первое место они выдвигают фабричный террор, на второе политический террор, на третье—тайную организацию с целью организации рабочих для немедленной борьбы с эксплоататорами путем поджогов, убийств и пр. и на четвертое—организацию обучения грамоте.

Пропаганду, путем которой „рабочие могут достичь своих целей разве лишь ко второму пришествию Христа“, и аги-

тацию для стачек и вообще для массовых протестов, Щедрин и Ковальская отвергают.

Успех их деятельности был колоссальный. Приехав в Киев, они никаких связей с рабочими не имели. С фальшивым паспортом Щедрин поступил чертежником в железнодорожную мастерскую, где он наметил трех молодых грамотных рабочих, которых успел заинтересовать своими разговорами. Они познакомили его со своими знакомыми из арсенала. Там Щедрин и Ковальская наметили пять человек. И с этими-то силами они начали свою деятельность, а через некоторое время „Южно-Русский Рабочий Союз“ имел 700 человек членов, свою типографию, и развил энергичную работу.

Воспоминания Елизаветы Николаевны Ковальской, дополненные архивными данными, представляют ценный вклад в историю революционных организаций рабочих в частности и в историю революционного движения в России вообще.

Богатое и интересное содержание, простой живой язык, краткие, но меткие характеристики делают чтение этих воспоминаний занимательным.

Было бы очень полезно для ознакомления широких масс издать очерк Е. Н. Ковальской отдельно по доступной, конечно, цене. Вся книга по своей дороговизне рядовому рабочему не доступна.

Л. Берман.

ХРОНИКА.

Из жизни Киевского Отделения.

1. Вечера воспоминаний и деятельность по МОПРУ. С первых дней возникновения Киевского Отделения О-ва Политкаторжан оно организовало выступления своих членов перед рабочими и красноармейскими массами с воспоминаниями о личных переживаниях на каторге и ссылке, а также об интересных моментах из жизни революционного подполья.

Воспоминания эти привлекали внимание слушателей, и спрос на них скоро возрос настолько, что небольшой кадр товарищей-докладчиков в Киевском Отделении не успевал уже удовлетворять все заявления, которые поступали от коллективов трудящихся в различных предприятиях и учреждениях

После того как в недрах н/О-ва родился МОПР, и быстро стали насаждаться в среде рабочих масс его ячейки, наши товарищи, приглашаемые на предприятия, не только делились своими воспоминаниями о прошлой каторге и ссылке, но связывали их с современной каторгой буржуазных стран, где и сейчас томятся революционеры, борцы за освобождение мирового пролетариата. Доклады о МОПРЕ, читанные старыми революционерами-политкаторжанами, перенесшими ужасы царской каторги, производили на массы большое впечатление, и учтя это, районные, а также губернский комитет МОПРА стали привлекать наших докладчиков для насаждения в среде рабочих и красноармейцев идей МОПРА. Работа по МОПРУ, таким образом, стала одной из основных наших работ, которую мы проводили почти ежедневно, посылая наших докладчиков по приглашению того или другого райкома МОПРА в то или другое предприятие.

В течении истекшего года наше отделение провело до 180 докладов, что составляет в среднем по одному докладу на каждые два дня. Эта цыфра тем более велика, что число докладчиков в нашем Отделении составляло всего 8—10 человек.

2. Общая культурно-просветительная работа в стенах нашего клуба. В ноябре 1924 г. в нашем клубе были организованы курсы по ликбезу. На этих курсах, под руководством учителей-политкаторжан, обучалась грамоте группа работниц до 30 человек.

Два раза в месяц по субботам в клубе устраивались так называемые „Субботки", на которых читались воспоминания о царской каторге и ссылке рабочим и красноармейцам, посещавшим наш клуб. Вне стен клуба устраивались лекции приезжавших из Москвы товарищей: т. Фроленко—об убийстве царя Александра II, Н. Ростова— об убийстве министра Плеве и о конце дома Романовых.

При клубе организовался из членов О-ва и членов их семейств

драматический кружок, который провел несколько постановок в рабочих клубах (химиков и совработников). В настоящее время, с устройством маленькой сцены в н/клубе, драм. кружок готовится к постановке спектаклей на этой сцене.

В клубе н/Отделения в течении этого года был проведен также ряд вечеров и концертов, сбор с которых, как и от лекций Московских товарищей, поступил на усиление средств н/Отделения.

Серьозным недостатком культ. работы нашей до сих пор является: 1) то, что мы не организовали в н/клубе систематических циклов общедоступных лекций по вопросам общество-и естествознания, не смотря на наличие в Киеве соответствующих лекторских сил, и 2) фактическое отсутствие библиотеки, несмотря на наличие количества книг, которым, при внимании к делу, товарищи могли бы пользоваться в более организованном порядке и с большей пользой для них. Сюда же нужно отнести отсутствие комнаты—читальни в клубе отделения, что об'ясняется, впрочем, некоторою теснотою помещения, занимаемого клубом.

3. Подготовка к юбилеям. Подготовительная работа к празднованию двух юбилеев—20-ти летия Революции 1905 г. и 100-летия Декабристов—стала производиться еще сначала 1925 г. Для придания работам планового характера была избрана специальная юбилейная комиссия. Комиссия занялась собиранием экспонатов-фотографий, относящихся к эпохам 1905 и 1825 гг., чтобы создать из них в н/клубе соответствующие юбилейные уголки. Пока собрано до 40 таких фотографий. В числе этих фотографий имеются, между прочим: снимок пещеры, где происходили тайные собрания южной группы декабристов, и снимок дома, где жил в Тульчине вождь южной группы Пестель.

Очередные номера сборника „Из эпохи борьбы с царизмом“, издаваемого н/Отделением, приурочиваются по содержанию и времени выхода в свет к годовщинам этих знаменательных революционных эпох.

4. Шефская работа. С Мая 1924 г. н/Отделение шефствует над N-ым кавалерийским полком, расквартированным в тех казармах, где 100 лет тому назад было поднято декабристами знамя революционного восстания. Шефство над исторически родственным нам полком оффициально принял наш Центральный Совет, но практическое проведение его в жизнь было возложено Центральным Советом на н/Отделение в виду территориальной близости его к полку. Командировав туда представителей для приветствия и ознакомления с жизнью полка, н/Отделение с первых же дней установило тесную связь с ним. Молодые красноармейцы славного исторического полка радушно и восторженно приняли н/представителей и, месяца через 2 после этого, к нам приехали представители полка, которые с интересом осматривали наш небольшой музей „Каторги и ссылки“, и знакомились с нашей работой. На дорогу мы дали им по несколько экземпляров изданных нами сборников, а также изданий н/Центрального Совета, снабдив их, таким образом, литературой из жизни старого революционного подполья, политической каторги и ссылки.

За истекший год н/представители были 4 раза в гостях у своей подшефной части. Связь поддерживалась также товарищеской перепиской и посылкой литературы. В Августе с/г., во время последнего посещения нашим представителем подшефного полка, последний выра-



Первая Всеукраинская конференция политических каторжан и сс-поселенцев 4 мая 1925 г.

зил желание обменяться экспонатами для устройства соответствующих уголков. Таким образом, у нас будет устроен уголок „Подшефного полка“, а в последнем—уголок „Каторги и ссылки“.

5. Всеукраинская Конференция. Еще на 1-м Всесоюзном С'езде н/О-ва, состоявшемся в Москве 12 марта 1924 г., группой украинских делегатов была выдвинута мысль о создании украинского центра О-ва, и тут же украинские делегаты избрали временный совет, куда вошли представители 3-х украинских Отделений: Харькова, Киева и Одессы. Но совет этот ни разу не собирался, и только через два месяца после Всесоюзного Пленума 12 марта 1925 г., в связи с принятой по этому поводу резолюцией, была созвана конференция находящихся на территории Украины отделений Общества. 1-ая Всеукраинская конференция собралась 3/v с/г. в г. Харькове. На конференцию с'ехалось 27 делегатов от 7-ми украинских отделений О-ва (Харькова, Киева, Одессы, Полтавы, Житомира, Екатеринослава и Запорожья). Центральным Советом на конференцию был делегирован тов. Виленский-Сибиряков. Тов Виленский-Сибиряков сделал конференции доклад об истории возникновения О-ва Политкаторжан и о целях и задачах, стоящих перед ним. По заслушании доклада конференция разбилась по секциям. В результате двухдневной работы секций конференцией было принято положение о Всеукраинском Совете и о взаимоотношених с ним украинских отделений, а также о взаимоотношениях между ними и Всесоюзным Центральным Советом. В согласии с этим положением отделения по всем вопросам, касающимся жизни О-ва, сносятся со своим Всеукраинским Советом и только по вопросу о приеме членов О-ва сносятся непосредственно с Центральным Советом Всесоюзного О-ва. Далее были приняты постановления о кассе взаимопомощи, о предстоявшей курортной кампании, о смете Всеукраинского об'единения и отделений и др.

Конференцией был избран Всеукраинский Совет, куда вошли от Харькова тт. Петровский Г. И., Скрыпник Н. А., Ганенко К. П., Винокамень А. М., Яблонский Д. К., Кларк А. М., Агуф А., Лебеденко А. Г., Новосадский С. И.; от Одессы тт. Фейгельман Я. Л., Мартыновский С. И.; от Киева тт. Кофф Г. М.; Дубровский Я. Я., от Волыни Берьев-Бык В. Г.; от Екатеринослава Бондарь А. Ф.; от Полтавы Дьяченко С. И.; от Запорожья Минаев М. И.; и кандидатами тт. Кушнеренко, Патлажан, Яновицкий, Рогов, Берман, Ранский, Сипко, Вербловский и Михайловский. Ревизионная комиссия была избрана в составе тт. Скрабе, Викторова, Скузе, Бычкова, Пивоварова, Кравец и Думмера, и кандидатов—тт. Мысенко, Лесного и Островского.

6. Хозяйственная деятельность. В начале 1924 г. у группы членов О-ва возникла мысль организовать сельско-хозяйственный коллектив. После долгих обсуждений вопрос этот был решен Советом Отделения в положительном смысле, и Киевское Отделение О-ва получило в эксплоатацию от Киевского губземотдела Еленовское хозяйство, находящееся в 12 верстах от ст. Мотовиловки М. К. В. ж. д. Инициативная группа, состоявшая всего из двух-трех семейств, рьяно принялась за дело. К сожалению, в Киевском отделении не оказалось необходимого количества лиц для работы в хозяйстве и, таким образом, небольшой группе товарищей, не справлявшейся с работой, пришлось привлекать в помощь с одной стороны своих родствен-

ников, а с другой—крестьянскую рабочую силу за плату. Целое лето товарищи, преодолевая большие трудности, в том числе большую бедность в живом и мертвом с.-х инвентаре, работали над снятием урожая, засеянного прежним арендатором хозяйства (Сельгосподарем). К осени, когда нужно было зарегистрировать коллектив, оказалось, что нет законного количества членов, необходимого при регистрации. Тогда совет Отделения решил взять хозяйство в аренду, о чем и был заключен с Губземотделом соответствующий договор, а товарищи, по инициативе которых было взято хозяйство, остались работать в хозяйстве в качестве служащих на жалованьи. Недостаток оборотных средств у Отделения не позволил однако продолжать дело, и уже зимою 1925 года был поставлен вопрос о ликвидации хозяйства. Накануне передачи хозяйства крестьянскому коллективу был зверски убит бандитами около будаевского леса один из инициаторов и преданнейших работников дела тов. Берзин-Лацис. Злополучное хозяйство не только отняло огромное количество энерavailable у членов Общества и ввело отделение в большие убытки, но и лишило его одного из лучших своих товарищей.

Другое начинание в области хозяйственной деятельности также не имело успеха: взятый отделением в аренду кинематограф просуществовал 2 недели и, причинив отделению около 600 руб. убытку, был им ликвидирован.

К хозяйственной деятельности нужно отнести и работу по благоустройству нашего клуба. Хоз. комиссии удалось без больших денежных затрат отремонтировать помещение клуба, соорудить в нем маленькую сцену, обставить его необходимой мебелью и, таким образом, превратить его в чистый, уютный и красивый уголок. Украшает наш клуб и небольшая, но довольно богатая содержанием, галлерея фотографий из жизни революционного подполья, политической каторги и ссылки. Из последних достижений отделения в области хозяйственной деятельности можно отметить получение дома для О-ва, правда, небольшого (договор с Горкомхозом только имеет еще быть заключенным) и совместное с Наробразом устройство детского сада для детей членов О-ва.

7. **Касса взаимопомощи.** С 1-го Июня сего года в Киевском Отделении О-ва начала функционировать касса взаимопомощи. По постановлению Всесоюзного и Всеукраинского Советов О-ва каждый член О-ва должен быть обязательно членом Кассы, не зависимо от того, состоит ли членом кассы в своем союзе, или нет. Взносы в кассу установлены 50 коп. вступительных и $^1/_2$% с получаемого жалованья членами Этих денег, конечно, не достаточно для создания фонда кассы, и поэтому наш Совет постановил все причитающиеся Отделению долги членов О-ва перечислить в фонд кассы. Таких долгов числится свыше 1000 руб. Деньги эти, к сожалению, до сих пор поступают в кассу весьма и весьма медленно. Несмотря на указанный недостаток средств, касса все-таки работала и из немногих средств, которые ей удалось собрать, выдала за 3 месяца разных видов ссуд на сумму свыше двухсот рублей.

8. **Устройство безработных.** Одной из важных задач в дея-

тельности Общества является устройство товарищей членов О-ва на работу, которая дала бы им возможность получать необходимые средства для своего существования. Для этой цели Совет н/Отделения еще в 1923 году обратился с ходатайством в Киевский Губисполком о посылке биржей труда на работу членов О-ва вне очереди. Ходатайство Совета было удовлетворено, и безработица в среде членов О-ва на первых порах была очень скоро ликвидирована. Но по мере того, как ряды Киевского Отделения О-ва стали пополняться новыми товарищами, прибывавшими из провинции, вопрос о безработице снова появлялся и снова требовал от Совета принятия мер к его разрешению. Между тем это разрешение очень осложнилось состоянием общей безработицы в Киеве, которая в течение истекшего года достигла огромных размеров. Несмотря на принимавшиеся Советом меры, членам О-ва приходилось по несколько месяцев сидеть без работы. В настоящее время безработица опять ликвидирована, и, подводя итоги проделанной в этой области работы, можно отметить 21 случай устройства безработных членов и кандидатов О-ва. Впродолжение времени нахождения без работы члены О-ва получали от Совета денежные пособия, размер которых, в общем небольшой, вариировался в зависимости от семейного положения безработного. Пособия эти выдавались отдельными постановлениями от случая к случаю; общего регламента о материальной поддержке безработных членов Отделения у нас не существует, что нужно признать известным дефектом работы Отделения в этой области.

9. Медицинская помощь и курортная кампания.—Текущая медицинская помощь членам н/Отделения до сих пор не организована должным образом. Не говоря уже о том, что у нас при Отделении не существует своего врача и амбулаторного приема, не налажены у нас как следует и отношения с местным отделом здравоохранения, и в случаях неотложной необходимости во врачебной помощи, как и в случаях необходимости систематического или сколько-нибудь продолжительного амбулаторного лечения члены н/Отделения испытывают иногда не малые затруднения в своих попытках получить необходимое.

Значительно лучше обстоит дело с курортным лечением товарищей. Еще в марте с. г. Советом была организована медицинская комиссия с правами ремонтной комисси для освидетельствования всех членов и кандидатов Отделения на предмет назначения того или иного вида курортного лечения. Освидетельствование показало, что из всего состава Киевского Отделения только 1 человек совершенно здоров. Все же остальные страдают теми или иными болезнями и недугами. Советом было возбуждено ходатайство перед Киевским Губпрофсоветом о предоставлении Отделению нескольких мест на прилегающих к Киеву курортах (Святошино и Пуща-Водица),— и перед Всеукраинским Советом о предоставлении для тяжело больных товарищей мест на южных курортах. Оба ходатайства в большей части были удовлетворены и, таким образом, Совету удалось предоставить места 25 товарищам в Святошино и Пуще-Водице и пока 6 товарищам на южных курортах (на Кавказе, в Крыму и

в Одессе). Еще 7 товарищей имеет с получением путевок от Всеукраинского Совета поехать в Ялтинские санатории. Таким образом, многим из товарищей—членов О-ва удалось в этом году восстановить или подправить свое расстроенное здоровье на предоставленных им Отделением курортных местах.

10. Издательская работа. О значении этой работы в деятельности Общества писалось не мало на страницах нашей печати. Воспоминания товарищей о пережитом в революционном подпольи, на каторге и в ссылке, о лицах, с которыми они там встречались, о событиях, в которых они принимали участие, закрепленные в печатном слове, должны войти, как существенная часть, в фактическую основу будущей истории политической каторги и ссылки и всей истории русского революционного движения вообще. Отсюда то внимание, которое уделяют этой стороне своей деятельности Общество в целом и многие его Отделения в частности. Так поступает и Киевское Отделение О-ва. Превозмогая большие материальные затруднения и затруднения, связанные с тем, что лишь немногие сравнительно лица из среды членов О-ва могут дать более или менее литературно написанные свои, подчас весьма ценные и интересные, воспоминания,—оно в течение 1924 г. выпустило два первых своих сборника воспоминаний, в центральном нашем органе получивших одобрительные отзывы. В марте 1925 г. вышел 3-ий сборник Отделения и, наконец,—настоящий сборник. Всего, таким образом, Отделением выпущено 4 сборника с общим количеством экземпляров 11000.

Следующий сборник, посвященный 100-летнему юбилею восстания декабристов Отделение, надеется выпустить в декабре ко дню юбилея.

Вообще же говоря, издательское дело в н/Отделении еще не может считаться налаженным. Сборники выходят нерегулярно и с большими промежутками времени один от другого—по мере накопления для этого средств у Совета и материалов у редакции. Настоящий сборник является только первым сборником, содержащим оплаченные статьи; предыдущие три сборника строились редакцией на безплатно предоставленном ей в распоряжение материале. Чтобы поставить издательство на прочную ногу, его, необходимо прежде всего сделать самостоятельным в финансовом отношении, имеющим отдельный, пусть небольшой, оборотный фонд, отдельный приходо-расходный бюджет. Ибо работа по составлению и регулярно-периодическому выходу в свет издания требует—наличия известного круга авторских сил, сгруппированных вокруг издания, заботы о постоянном расширении этого круга, возможности в необходимый момент получить статьи известного содержания или по известному вопросу или событию, и многого другого, в чем всегда приходится опираться на возможность выполнить известные, принятые на себя обязательства или заключенные условия, следовательно, ясно представлять себе во всякий момент финансовое положение дела... На изложенном пути к прочной постановке его наше Отделение делает сейчас лишь первые шаги.

11. Всесоюзная перерегистрация.—В связи с проникновением

в н/О-во чуждого элемента, не имевшего ничего общего ни с революционным движением, ни с политической каторгой и ссылкой, Центральным Советом О-ва была об'явлена общая перерегистрация членов О-ва. Организованная для этой цели специальная Перерегистрационная Комиссия при Центральном Совете О-ва должна была проверить каждую заполняемую перерегистрирующимся товарищем, анкету по данным о его деле, имеющимся в Революционном Архиве. Над этой работой Перерегистрационная Комиссия работает с 15/Х 1924 г и до сих пор ее еще не закончила. Из числа 90 человек, проходивших по Киевскому Отделению перерегистрацию, как и вновь подавших чрез Отделение заявления о приеме в О-во,—утверждены пока и получили единые всесоюзные членские билеты 63 человека, исключено из О-ва 10 человек, еще нет результатов о 17.

М. С. Миттельман.

Общее собрание членов Киевского Отделения.

4-го ноября состоялось годичное Общее Собрание членов Киевского Отделения О-ва политкаторжан и сс. поселенцев. После заслушания отчетных докладов Совета и Ревизионной Комиссии были произведены выборы нового Совета, Ревизионной и других Комиссий, а также делегатов на 2-ой Всесоюзный С'езд О-ва Политкаторжан. Избранными оказались:

Старостой Киевского Отделения т. **Постышев.**

Членами Совета: т. т. Дубровский, Ланде, Михно, Голубков, Миттельман, Янко, Ушацкая и Сухомлин.

Кандидатами: т. т. Вайнер, Блиман и Айзенберг.

В Ревизионную Комиссию: т. т. Берман, Лагунов, Ветман, Островский, Пивоваров.

Кандидатами: т. т. Иванов и Дрикер.

В Клубную Комиссию: т. т. Ушацкий, Моспан, Айзенберг, Зильберберг, Ланде, Дубровский, Янко, Голубков, Крижевский и Бодров.

В Редакционно-Издательскую Комиссию: т. т. Берман, Лагунов, Ветман, Зильберберг и Янко.

В Правление Кассы Взаимопомощи: т. т. Ланде, Ушацкая, Моспан, Никитчук и Вайнер.

В Финан.-Хозяйственную Комиссию: т. т. Дубровский, Грищенко, Карнач, Моспан.

В Юбилейную Комиссию: т. т. Лагунов, Моспан, Ветман, Берман, Пивоваров, Янко.

В Бюро Труда: т. т. Михно, Ветман и Цукров.

Делегатами на 2-ой Всесоюзный С'езд О-ва избраны: т. т. Дубровский, Ланде, Михно, Миттельман, Берман, Лагунов, Пивоваров, Цукров.

Кандидатами: т. т. Никитчук, Янко и Голубков.

РЕЗОЛЮЦИЯ

принятая на общем собрании Киевского Отделения О-ва Политкаторжан 4/XI—25 г.

Заслушав отчетный доклад о деятельности Совета Киевского Отделения О-ва за истекший год, Общее Собрание членов констатирует ряд успешно проведенных работ в следующих областях:

1. По линии Мопр'ской кампании и организации вечеров воспоминаний о политкаторге и ссылке.

2. По линии издательской деятельности.

3. В области устройства безработных товарищей на работу.

(В настоящее время в Отделении нет ни одного безработного).

5. В проведении курортной кампании.

6. В области финансово-хозяйственной деятельности, в каковой необходимо подчеркнуть следующие моменты: благополучную ликвидацию сельхоза, погашение долгов, наделанных Советом предыдущего состава, отремонтирование клуба и, наконец, доведение нашего финансового положения до хорошего состояния. Как большое достижение надо считать полное изжитие склоки, имевшей мосто в н/Отделении в прошлом году, и установление среди членов О-ва хороших товарищеских взаимоотношений. Но наряду с указанными достижениями необходимо отметить и ряд дефектов а именно:

1. Отсутствие плановости, как в работе совета, так и в работе отдельных комиссий, отчего проводимая работа носила кустарный, неорганизованный характер.

2. Отсутствие календаря работ, вследствие чего заседания совета и комиссий происходили нерегулярно и нередко одно заседание от другого отделялось довольно большим промежутком времени.

3. Отсутствие правильной медицинской помощи членам О-ва, от чего особенно страдали товарищи, не состоящие членами профсоюзов.

4. Слабая культурно-просветительная работа в н/клубе, как отсутствие устройства лекций, докладов, вечеров воспоминаний, вследствие чего клубная работа особенно последнее время совершенно замерла.

5. Плохая постановка библиотечного дела и, наконец, полное отсутствие работ по разработке архивных материалов.

Вышеуказанные дефекты в большей мере об'ясняются летним отпускным периодом. Для исправления всех перечисленных пробелов, Общее Собрание считает необходимым новому составу совета положить в основание своей работы следующие начала.

1. Установить строго плановый характер своей работы, для чего предложить всем комиссиям представить план и смету на каждый месяц, каковые должны быть утверждены советом.

2. Совет собирается каждое 1-е число для заслушания отчета комиссий о проделанной за месяц работе. Проведение же текущей работы отделения возлагается на президиум, который собирается один раз в неделю, по воскресеньям.

3. Каждая комиссия имеет также определенный день для своих заседаний, при чем заседания комиссий должны происходить не реже одного раза в неделю.

4. Установить определенное время для работы канцелярии О-ва для того, чтобы секретарь не был прикован к ней в течение целого дня.

5. Что же касается проводимой по вечерам клубной работы, то обязанности ее по примеру других рабочих клубов возложить на дежурных по клубу членов О-ва.

6. Установить обязательные дежурства в клубе для всех без исключения членов О-ва, при чем освобождение от дежурств допускается лишь по болезни.

7. Оживить клубную работу путем устройства в клубе ряда лекций, докладов, вечеров воспоминаний, а также спектаклей из жизни каторги и ссылки.

8. Срочно повести работы по подготовке к предстоящим юбилеям, для чего реорганизовать выделенную юбилейную комиссию.

9. Оживить музейную работу путем оборудования к юбилеям соответствующих уголков и привлечения в н/музей экскурсий от предприятий и красноармейских частей.

10. Поставить на должную высоту н/библиотеку и читальню, для чего выписывать периодические журналы и газеты и выделить специального библиотекаря.

11. Углубить н/работу по МОПР'у и устройству вечеров воспоминаний о политкаторге.

12. Организовать при клубе буфет с бесплатным чаем для членов О-ва.

13. Принять меры к распространению н/сборников среди широких рабочих и красноармейских масс путем удешевления цены и налаживания соответствующего агентурного аппарата.

14. Выделить двух человек для постоянной работы в киевском революционном архиве, для чего исходатайствовать соответствующую сумму денег для оплаты этой работы и, наконец, принять меры к действительному получению дома для организации в нем коммуны политкаторжан.

Поправка.

В статье т. И. Иванова „Арест и побег", помещенной в сборнике № 3 „Из эпохи борьбы с царизмом", на стр. 34 напечатано: „Белозерский", следует читать: „Белоозерский". Тов. Иванов сообщил, что в Тамбовской тюрьме сидел эс-эр, член коллектива политических и хороший товарищ—Белоозерский; там-же сидел Белозерский, именовавший себя политическим, которого некоторые из товарищей подозревали в шпионаже и который не пользовался доверием товарищей вообще.

Ред.



